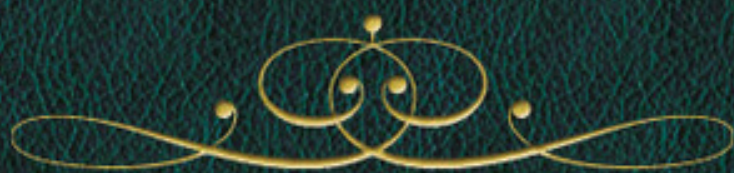


Федоров Б. М.



КНЯЗЬ КУРЬСКИЙ

РОССИЯ ДЕРЖАВНАЯ

Россия державная

Борис Федоров
Князь Курбский

«Public Domain»

1848

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)

Федоров Б. М.

Князь Курбский / Б. М. Федоров — «Public Domain»,
1848 — (Россия державная)

ISBN 978-5-486-03997-3

Борис Михайлович Федоров (1794–1875) – плодовитый беллетрист, журналист, поэт и драматург, автор многочисленных книг для детей. Служил секретарем в министерстве духовных дел и народного просвещения; затем был театральным цензором, позже помощником заведующего картинами и драгоценными вещами в Императорском Эрмитаже. В 1833 г. избран действительным членом Императорской академии. Роман «Князь Курбский», публикуемый в этом томе, представляет еще один взгляд на крайне противоречивую фигуру известного политического деятеля и писателя. Мнения об Андрее Михайловиче Курбском, как политическом деятеле и человеке, не только различны, но и диаметрально противоположны. Одни видят в нем узкого консерватора, человека крайне ограниченного, мнительного, сторонника боярской крамолы и противника единой державы. Измену его объясняют расчетом на житейские выгоды, а его поведение в Литве считают проявлением разнузданного самовластия и грубейшего эгоизма; заподозривается даже искренность и целесообразность его трудов на поддержание православия. По убеждению других, Курбский – личность умная и образованная, честный и искренний человек, всегда стоявший на стороне добра и правды. Его называют первым русским диссидентом.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-486-03997-3

© Федоров Б. М., 1848

© Public Domain, 1848

Содержание

Часть первая	7
Глава I. Юродивый	7
Глава II. Пир у посадника	10
Глава III. Подвиги	15
Глава IV. Свидание	18
Глава V. Великодушный пленник	21
Глава VI. Клевета	24
Глава VII. Дом старейшины дерптского	27
Глава VIII. Болезненный одр	31
Глава IX. Похищение	35
Глава X. Обвиненный	41
Часть вторая	45
Глава I. Горестная встреча	45
Глава II. Первосвяtitель	47
Конец ознакомительного фрагмента.	51

Борис Федоров

Князь Курбский

© ООО ТД «Издательство Мир книги», оформление, 2011

© ООО «РИЦ Литература», 2011

Часть первая

Глава I. Юродивый

Служба закончилась, и при торжественном звоне колоколов псковитяне благоговейно выходили из Свято-Троицкого собора. Перед народом шел степенный посадник об руку с государевым наместником; на паперти, обратясь к храму Божию, он трикратно осенил себя крестом и, кланяясь на все стороны, поздравлял народ с праздником и оделял деньгами слепцов и недужных, стоявших на ступенях паперти. За ним, сопровождаемый степенным тысяцким и боярами, шел воевода большого полка князь Курбский, беседуя с воеводою Даниилом Адашевым о священном пении. Все почтительно расступались. «Доблестный Курбский, славный воитель!» – говорили в толпе, указывая на любимца Иоаннова, и не одна стыдливая красавица, отдернув фату, украдкой бросала взгляд на боярина. Посадник просил князей и бояр отведать его хлеба и соли по случаю именин; звал и почетных граждан, и именитых купцов. Вдруг, пока стремянные, ожидавшие у ограды, подводили статных боярских коней, раздался крик: «Юродивый! Юродивый!»

Курбский посмотрел в ту сторону, где теснился народ. Он увидел юродивого; ветхое рубище, накинутое с одного плеча, покрывало его; железная цепь опоясывала; волосы, распущенные по плечам, развевались от ветра, но на лице, изнуренном и бледном, сияло спокойствие. Все выходили из собора; лишь он один шел в храм и, размахивая перед собой посохом, пробирался сквозь толпу.

– Юродивый! – кричали ему. – Поздно идешь на молитву.

– Молиться никогда не поздно! – отвечал он.

Он прошел мимо посадника, не поклонясь ему, не поклонился он ни князю Курбскому, ни гордому воеводе Басманову, но в то же время преклонил смиренно голову перед служителем, подводившим Курбскому коня, и простерся на землю перед мальчиком, которого стрелец оттолкнул пикой с дороги, крича народу: «Место князьям, воеводам!»

– Знаешь ли, кто он будет? – сказал юродивый. – Смирись, чти непорочное сердце.

Стрелец замахнулся было на него, но Курбский остановил его.

– Для чего ты поклонился слуге, не почтив нас приветствием? – спросил Басманов.

– Думаете ли, бояре, что все, идущие здесь позади, пойдут позади вас и в веке будущем?

Юродивый вошел в церковь и, повергшись пред гробницею, в которой почивают святые останки князя Довмонта, стал безмолвно молиться.

– Кто этот чудный старец? – спросил Курбский посадника.

– Имя ему Никола, иноки прозвали его Салос¹. Рода его не знаем – и когда спрашивали: откуда он, то всегда отвечал: странник земной. Уже два года, как он обитает во Пскове. Жилище его – летом под кровом неба; спит он у стены Довмонтовой или под деревом в поле; зимой люди добрые зовут его в свои дома; одну ночь проводит он на богатом ковре, в теплой светлице, на другой день застают его спящим в стойле близ яслей или в тесном и холодном подклете. Обнаженными стопами ходит он в зной по горячему песку, а в трескучий мороз – по снегу и льду; ест черствый хлеб, пьет одну воду. Играет с детьми и, лаская последнего калеку из черной сотни, неприветлив с боярами. Но кто знает, может быть, он и прав...

– Да, – сказал Курбский, – мудрость века сего есть безумие пред Богом, по Святому Писанию. Но отчего так изъязвлены его ноги?

¹ То есть по-гречески – юродивый.

– Вскоре после Нового года – это было в последних днях сентября², вошел он в дом дьяка Ртищева, что у реки Псковы, возле каменных ворот. Подозвав к себе детей, игравших на дворе, и целуя в чело, говорил каждому: «Прости, мой добрый, иди, мой прекрасный!» Привыкнув к юродству его, не дивились тому; но не прошло недели, как в доме Ртищева открылась язва и несчастные отцы предали земле детей своих. За несколько недель перед тем Салос вздумал снова войти в дом сей, но его встретили кольями и проводили камнями, так что едва не дошло дело до губного старосты. Хорошо, что я распорядился, а то чернь вломилась бы во двор и дьяку было бы худо – его же в соседстве не любят. За десять лет пред сим, когда выгорел Псков, в доме Ртищева бросились не помогать, а грабить.

– Честь тебе, посадник! – сказал Курбский, оглядываясь вокруг. – Я не вижу и следов пожара, а слышал, что от большой стены до Великой реки только пять домов уцелело.

– Нет, боярин, много еще мне потрудиться для Пскова и Святой Троицы. Правда, что соломенных кровель мало, дворы богачей выше прежнего, над палатами возводят хоромы, но прежде с одного этого места было видно полсорока светлоглавых церквей, а теперь и пяти не начтешь; не блещут верхи их при солнце! Где было белое железо, там дерево.

Посадник вздохнул.

– Прежде, – продолжал он, – на тридцать рублей можно было поставить каменную церковь о трех верхах, а теперь вдвое дай – не поставишь. Дед мой дал пол сорока рублей – башню возвел, а теперь люди те же, да время не то.

– Не печалься, посадник! – сказал Курбский. – Слово даю, когда поможет мне Бог сослужить царю новую службу, пришло к тебе из Ливонии немецкого серебра и золота, и с этого места надеюсь увидеть с тобою более прежнего светлоглавых церквей!..

Солнце уже высоко поднялось на полдень, и жители Пскова, после праздничного обеда, сладко засыпали на дубовых лавках, на пуховых изголовьях, когда на широкий двор степенного посадника еще только начали собираться званые гости, привязывая статных коней своих к железным кольцам.

В это время Никола Салос вышел из собора. Улицы были пусты, торговые ряды заперты, кое-где дети играли в городки у тесовых ворот, бегая перед бревенчатыми избами по мягкой траве.

Тихо пробирался старец на Завеличье, через высокий мост, придерживаясь за красивые рели³. Скоро миновал час отдыха... запестрели одежды, повысыпал на улицы народ, и опять окружили Салоса.

– Леонтий! – сказал юродивый. – Завтра я приду к тебе в лавку. Приготовь мне кусок парчи да кусок тафты. Денег я не плачу.

– Возьми, что изволишь, – отвечал Леонтий с поклоном. – Помолись за меня и за семью мою.

– Когда так, – сказал Салос, – то отнеси и тафту и парчу к старухе, вдове старосты Василия, в приходе жен-мироносиц, на Скудельницах. Смотри же, отдай от себя и скажи: на бедность твою Бог посылает.

– А я думал помочь твоей нищете.

– Помогай нищете души, – молвил Салос и, увидев крестьянина, ехавшего мимо в телеге, закричал: – Половник Василий!⁴ Что ты печален?

– Ох, отец мой, наказал нас Господь зимою бесснежною; пророчат неурожай. Будет четверть ржи по шестнадцати денег. Худо нам. Чем запастись на зиму?

² Новый год тогда считался с сентября.

³ Перила.

⁴ Половниками назывались свободные земледельцы, нанимавшие поля для посева с договором отдавать половину жатвы владельцам.

– Видишь ли ты лошадь твою? – спросил юродивый.

– Как не видеть, отец мой?

– Она более тебя трудится и терпит. Трудись и терпи.

– Хорошо, отец, твоею святостию...

Салос закричал: «Боюсь, боюсь!», застучал посохом и бросился на другую сторону улицы. Там шел ремесленник и, качая головой, говорил сам с собою:

– Немного же получил я за работу! Отдать три псковки долгу соседу Семену, останется всего два пула⁵, и опять зарабатывать! Ни себе шапки, ни сестре бус не купил к Великому дню!

– Подай для Бога! – закричал жалобно Салос.

Бедняк оглянулся, увидев юродивого, и остановился от удивления. Салос протянул руку, ожидая подаяния.

– Прими для Бога, – сказал ремесленник и подал ему пул.

– Велик твой дар, благословен твой путь! – сказал, перекрестясь, Салос; он взял монету и протянул ее богатому новгородскому гостю, который проходил мимо, размахивая бархатным рукавом своей шубы, опушенной черною лисицей.

– Ты что, старик?! – закричал новгородец, отталкивая его руку, так что пул покатился на землю. – За кого ты меня принял?

Салос с горестию посмотрел вслед новгородцу.

– Увы! – сказал он. – Он отказался от смирения!

⁵ Самая мелкая медная монета того времени.

Глава II. Пир у посадника

По высокому деревянному крыльцу поднимались гости в светлые сени дома посадника. Пред боярами и воеводами почтительно шли знакомцы их⁶, поддерживая их под руки на ступенях, скрипевших под их тяжестью. Вершники сутились на дворе, около боярских коней. В широкой, разгороженной светлице, по стенам обитой холстиною, перед святыми иконами, сияющими в среброкованных окладах, с венцами из синих яхонтов и окатного жемчуга, горела большая именная свеча. Гости, проходя в светлицу из-под низких дверей, наклонялись и, обратясь к образам, крестились с поклоном и молитвою, после чего кланялись хозяину. Именинник подносил гостям заздравный кубок сладкой мальвазии.

Вошел князь Курбский. Взглянув на иконы и, по благочестивому обычаю предков, перекрестясь трижды, пожал руку именинника, пожелав здоровья, и поклонился псковско-печерскому игумену Корнилию, троицкому протоиерею Илариону, наместнику князю Булгакову и всем боярам и воеводам, которые при входе его встали с лавок, покрытых богатыми коврами. Сев на почетном месте, у красных окон, и положив на скамью горлатную шапку, он сказал посаднику:

– Благодарю за твой именной дар и, как воин, дарю тебя ратным доспехом. Сей доспех прислан мне от царя Ших Алея, но у меня броня прародительская, над которой ломались мечи татарские, и другой мне не нужно...

Два боярских знакомца внесли чешуйчатую кольчугу из меди, с серебряными поручьми.

– Вот тебе, – сказал Курбский, – одежда для приема незваных гостей, меченосцев ливонских.

– Ты, воевода, их встретишь и угостишь, – отвечал посадник, – а нам, псковичам, принимать твоих пленников.

– В войне, посадник, до Пскова не допустим, но с ливонцами нужно ухо держать остро. Знает Ивангород!..

– И в прошлом году они набегали на область псковскую, в Красном выжгли посад, – сказал Булгаков.

– Теперь снова русские сабли засверкают над немцами и русские кони изроют Ливонию, – сказал окольныйничий, Даниил Адашев.

– Любо, князь Андрей Михайлович, смотреть на коня твоего, – вмешался в разговор князь Горенский. – В поле ты всегда далеко за собой нас оставишь. Конь твой как стрела летит.

– Так армак мой – царский подарок за ратное дело в Ливонии. Государь велел мне выбирать лучшего из его коней. А я умею выбирать... Конь мой, как вихрем, вынесет меня из закамских дубрав, из ливонских болот. Пожаловал меня царь; драгоценная от него шуба соболья – роскошь для воина, привыкшего к зною и холоду, но конь, товарищ в поле – мне приятнейший из царских даров.

– И золотого, с изображением лица государева? – сказал протяжно Басманов, указывая на медаль, висевшую на кольчатой цепи, поверх голубого кафтана юного воеводы.

– Здесь художник изобразил царя, – отвечал Курбский, – но сам царь запечатлел свой образ в моем сердце. Милостивое слово его выше всякого дара. Никогда, никогда не забуду последних слов его...

Курбский остановился и замолчал, не желая хвалиться пред всеми царскою милостию. Но всем было уже известно, что перед походом призвал Иоанн Курбского в почивальную и сказал: «Принужден или сам идти на Ливонию, или послать тебя, моего любимого. Иди побеждать!»

⁶ Бедные дворяне, жившие в домах бояр.

Уже придвинули лавки к длинным столам, накрытым узкими скатертями браными, на коих поставлены были деревянные блюда с золочеными краями, кубки, осыпанные перлами, и в красивой резной посуде стояли любимые приправы русского стола – лук, перец и соль. По зову хозяина, гости встали и, помолясь, шли к столам. Запестрела светлица разноцветными парчами, бархатом и струистою объярью богатых боярских кафтанов, ферязей, охабней. Садись по роду и старшинству: за большим столом сел наместник, воеводы и гости именитые, за сторонними – люди житые, дворяне и дети боярские. Один только гость не сажился. Боярин Басманов хотел занять место рядом с Курбским, но окольный Даниил Адашев опередил его, и Басманов, по предкам своим считавший себя старшим, остановился с неудовольствием.

– На пиру быть воеводам без мест! – сказал Курбский.

Смех гостей раздался по светлице, и Басманов, вспыхнув, сел ниже Адашева.

Пир начался жареным павлином и лакомым сбойнем из рыбы, приготовленным в виде лебедя.

Двое служителей с трудом несли на подставках огромного осетра.

– Богатырь с Волги, – сказал Адашев, – и не менее сверстнаго змея, из которого громили Казань.

Еще двое служителей несли шуку необычайной величины.

– Чудо морское! – молвил один из гостей, попятыся от зубастой, разинутой пасти.

– Шука шла из Новгорода, а хвост волокла из Белоозера, – сказал толстый новгородец, осушая братыню серебряную.

Янтарная уха, караваи обходили кругом стола, между тем зашипели кружки бархатным пивом, из рук в руки передавался турий золоченый рог с медом.

Заговорили о подвигах ратных, о войне ливонской.

– Ливонцы будут просить перемирия, – сказал наместник.

– Не устоять им ни в битве, ни в мире, – промолвил посадник. – Помнишь, как было под Ругодевом⁷, когда они в перемирие, встретив великую пятницу за кубками, вздумали ударить из пушек через реку на Ивангород.

– Три дня, – сказал Курбский, – немцы пили без отдыха и три дня стреляли без умолку. Но, когда воеводы, дождавшись царского слова, грянули в них, витязи затихли и отправили в Москву послов просить мира, а мы взяли их Нарву.

– Бог явил великое чудо! – молвил игумен Корнилий.

– Расскажи, князь, порадуя сердца!.. – просили гости, и Курбский продолжал:

– Немцы, по обычаю, праздновали. В одном доме, где останавливались псковские купцы...

– В том самом, князь Андрей Михайлович, где проживал я с братом, отъехавшим в поморские земли, – сказал один из псковитян. – Мы-то и оставили там на стене святую икону...

– Увидев икону, немцы вздумали над святынею рыцарствовать: сорвали со стены и бросили в огонь. Громко смеялись, но вдруг весь огонь ударил вверх и запылала кровля. К тому же нашла сильная буря; вихрем раскинуло пламя, и весь Нижний город огнем обхватило. Храбрецы с женами и детьми бросились бежать в замок Вышегородский, оставляя на страже у стен одни пушки. Стрельцы увидели и устремились через реку в ладьях на город ливонский; кому не досталось ладьи, тот плыл на доске; иные, выломав ворота домов и сдвинув на волны, переплывали реку. Воеводы не могли удержать ратников и пошли с ними. Все войско, как туча, поднялось на Вышгород. Опомнились немцы, но поздно. Русские сквозь дым и огонь вломились в ворота и громили ливонцев ливонскими же пушками. Ругодев сдался, воеводы ливонские вышли из города, как бы в укор себе неся мечи, коими не могли отбиться. Ратников их

⁷ Нарва называлась русскими Ругодевом.

выпустили без оружия. Неисповедимы силы Христовы в обличение дерзающих на имя Его! А икона найдена невредимою среди пепла и разрушения...

– Да прославляется Имя Господне! – сказал Корнилий. – Святую икону я принес в Москву, где царь встретил ее со всем освященным собором.

– Да прославляется Имя Господне! – сказал Курбский. – После сего двадцать градов ливонских пали пред русскими мечами.

– Да славится Иоанн, победитель Ливонии! – сказал посадник, встав с места и высоко подняв красную чару. – За здравие царского дома!

– За здравие царского дома! – раздался радостный крик, и все гости последовали примеру посадника.

– За здравие царской думы его, за здравие бояр родословных!

– За Алексея Адашева, царского друга, за Сильвестра, опору царства, – сказал с восторгом Курбский и первый осушил кубок.

– За Адашева, за Сильвестра! – повторилось в кругу пирующих.

Боярин Басманов, нахмурясь, сказал:

– Князь, кубок предложен за здоровье мужей стародавних в русских родах... Мы пьем за Шуйских, Пронских, Мстиславских...

– И Курбских! – перебил его Даниил Адашев. – Отчиною предков их было княжение ярославское. Одна любовь к отечеству осталась в наследие им!

– За наместника царского в Пскове! – предложил Курбский.

– Первым пить псковичам! – сказал посадник, обратясь к Булгакову. – После воеводы Турунтая, пожара и мора, которыми в прошлых годах Бог наказал их, они при тебе отдохнули!

– Теперь не страшимся и литовцев, – сказал тысяцкий. – Крепок Псков наш, огражден стенами, башнями, высокими насыпями, глубокими рвами.

– Не в стенах и не в башнях крепость его, – сказал Курбский, – но в мужестве граждан. Обступят ли Псков полки литовские, – пусть укажет воевода на гроб Довмонта, пусть повторит он ратникам слова его: «Братья, мужи псковские! Кто из вас стар, тот мне отец, кто из вас молод, тот мне брат! Перед нами смерть и жизнь. Постоим за Святую Троицу!» Слова сии воспламят души мужеством и любовью к отечеству отразить силу противников. Так псковичи, доколе гроб Довмонта и меч с надписью: «Чести моей никому не отдам останется в Пскове, дотоле останется Псков, и чести своей никому не отдаст!»

– За подвиги храбрых, за воителей доблестных, – сказал наместник. – Князь Андрей Курбский, ты носишь за отечество славные раны. Прежде всех пьем за здоровье твое!

– Много сынов у отечества! Да цветет славою Россия, – сказал Курбский, и слезы заблестали в глазах его.

– Воевода Басманов! – заметил посадник. – Ты не выпил кубка.

– По всему видно, посадник, что в высоком доме твоём глубокие погреба, – отвечал Басманов, неохотно поднимая кубок.

Румянец блистал на лицах; веселые гости шутили. Разрушили коровайную башню, за нею появился на столе сахарный медведь.

– Не взыщите, дорогие гости, – говорил посадник, – чем Бог послал.

Бояре обнимались с ним и обнимали друг друга.

– Сладок твой мед, – сказал наместник посаднику, – но слаще из хозяйкиных рук. Доверши твой пир, почти гостей, покажи нам посадницу!

Посадник вышел и возвратился с хозяйкою. Низко поклонилась она гостям. Из-под накладных румян нельзя было видеть румянца стыдливости; но изумрудное ожерелье колебалось над атласным ферязем прекрасной посадницы; жемчужное зарукавье дрожало на полной руке, из-под черных ресниц голубые глаза не поднимались на любопытных гостей. Взяв серебряную стопу, налила она шипящего меда в кубок, первому поднесла с поклоном своему мужу,

потом стала к стене и, склоняясь застенчиво на белый рукав, потчевала подходящих бояр и воевод; потом, снова приветствуя поклоном всех гостей, вышла.

– Не правда ли, князь, что две родные сестры не сходнее, как твоя княгиня с посадницей?.. – сказал Даниил Адашев Курбскому. – Одна разница, что княгиня твоя, против обычая, не белит, не румянит лица, за что ее жены наши, по Москве, осуждают.

– Не наряд жену красит, а кротость, – отвечал Курбский.

– Когда-то, – сказал Адашев, – попируем мы в семье твоей?

– Я живу в ратном поле. Родительницу свою мало видел, от жены был далеко. Но завоюем Ливонию, отдохнем в Москве. Будем беседовать с Сильвестром, с братом Алексеем Адашевым. Повеселимся в полях с соколами и с белыми кречетами. Помнишь, в забавах мы были всегда неразлучны, как теперь сын твой Тарх и мой Юрий.

– Тесть мой, Туров, ждет не дождется, когда мы будем вместе.

– Туров? – переспросил посадник. – Каково поживает старый друг мой?

– Прихварывал, – отвечал Даниил Адашев, – но целебные травы, которые посылал я из Ругодева к родственнице нашей, Марии, помогли ему.

– Но видение его не к добру, – сказал Курбский.

– Какое видение? – спросил с любопытством посадник.

– При отъезде моем из Москвы, – сказал Курбский, – Туров сказал мне: «Прощай, князь, не увидимся!» – Я изумился. «Как не увидимся?» – спросил я его. – «Скоро дети наденут по мне смиренное платье⁸». – «С чего тебе в мысли пришло?» Тогда он рассказал мне странный сон. «Я видел, – говорил он, – видел так ясно, как теперь тебя вижу, что я иду по высокому и длинному мосту. Казалось мне, будто, вступая на него, я был еще в годах детства. Около меня резвились товарищи моей юности. Многих из них я давно уже похоронил и оплакал. Идучи, я скоро потерял их из виду, и казалось мне, будто бы я чем далее шел, тем более входил в лета, и скоро постарел... Увидел я семейство мое, Адашевых, тебя. Вдруг мост, который был тверд, стал подламываться под ногами моими, доски распадались, и я с трудом пробирался по остающимся бревнам, над кипящими в глубине волнами. Внезапно как бы холодный лед коснулся руки моей, и я увидел, что возле меня кто-то стоял под белым покровом. В это время ударил вихрь с облаком пыли, сорвал белый покров и обнажил остов безглавый, у ног которого лежала в крови моя голова. Мост обрушился, я закричал – и проснулся. В волнении духа я устремил глаза на мою рукописную Библию; она лежала, раскрытая, на столе у постели моей, и я, обернув лист, на котором за день пред тем остановился, читал: се глад и казнь! – Ужасное предвестие охладило кровь в моем сердце». Так говорил мне Туров и прибавил: «Прощай, Курбский!» – Сознаюсь, бояре, какое-то печальное чувство тогда овладело мною, и я не мог с Туровым без скорби расстаться.

– Оставим женам боязнь, – сказал Даниил Адашев, – удалим смутные мысли. Сегодня Туров пирует в царских палатах с моим братом.

– А мы здесь выпьем за здоровье его, – сказал наместник. – Здоровье друга моего Турова!

– Здравие Турова! – повторили гости.

В это время прибыл гонец из Москвы, с грамотою государевою, к князю Андрею Михайловичу Курбскому. Низко поклонясь всем боярам, он почтительно подал Курбскому царскую грамоту.

Курбский развернул свиток и стал читать письмо Иоанна.

⁸ Так назывался траур.

Царь благодарил его за поспешность в распоряжениях воинских, хвалил доблести его и заканчивал письмо надеждами на новые победы, указывая ему первой целью – считавшийся неприступным – замок епископа Ревельского, Фегефейер⁹.

– Ступай, князь православный, в немецкое чистилище! – сказал, шутя, наместник Булгаков.

Между тем гонец подал Даниилу Адашеву свиток, запечатанный перстнем его брата Алексея Адашева.

С изумлением читал окольный письмо брата и не мог скрыть своего смущения.

– Курбский! – сказал он затем. – Брат мой оставил царскую думу и принимает начальство над войсками в Ливонии. Сильвестр удалился в обитель Кирилла Белоозерского. Тесть мой Туров... – Он не договорил, закрыл руками лицо и подал письмо Курбскому.

Тот прочел: «Туров в темнице...»

Басманов улыбался.

Изумление выражалось на лицах всех. Каждый старался постигнуть причину внезапного удаления Адашева и Сильвестра и каждый спешил переговорить о том наедине со своими ближними.

Посадник проводил до крыльца последнего гостя, покачал головой, взглянув на служителей, выносивших в кладовую серебряные чары и кубки, вздохнул и в раздумье вышел из опустевшей светлицы.

⁹ Фегефейер на немецком языке означает Чистилище.

Глава III. Подвиги

Пыль поднималась по дороге из Дерпта к Виттенштейну; при сиянии майского солнца как будто бы молния засверкала вдалеке; гуще становилась пыль, ярче ослепительный блеск, и вот – показались всадники в светлых шлемах, в ратных доспехах. На развевающихся знаменах плыли в воздухе святые лики. То было войско, предводимое князем Курбским и Даниилом Адашевым. Сначала легкий яртоульный отряд пронесся на быстрых, конях. За ним показался передовой полк с воеводой князем Горенским. Воевода князь Золотой замыкал этот полк с дружиной городецких людей. С ним были татары и башкирцы, искусные стрелометники. Выступил и большой полк. Всякий, кто искал взглядом Курбского, мог узнать его. Стальной шлем, украшенный бирюзой, покрывал смуглое его лицо. Гонцы скакали вслед за воеводами, спеша передавать их повеления другим вождям. Свободно опустив поводья и с легкостью обертываясь во все стороны, они стегали неподкованных ногайских коней. Левую руку вел князь Мещерский, сторожевой полк – воевода князь Троекуров. Грозен был вид войска, немногочисленного, но избранного. Ратники облечены были в брони кольчатые, острые шлемы их прoderнуты были для отвода ударов с чела стрелюю булатною; головы вождей осеняли высокие шишаки ерихонские, грудь их покрывали доспехи зеркальные из отсвечивающей стали. Кривые сабли блестяли у высоких седел; с другой стороны колебались сайдаки с тугим луком, лес копий сверкал остриями; в колчанах стучали стрелы. Величаво ехали головы пред дружинами боярских детей, пред десятнями дворян. За воеводами следовали ратники их со знаменем; за детьми боярскими – их поместные служивые люди, иные в панцирях, иные в толстых тигилях, в шапках железных¹⁰; одни с саблями, другие с зубчатыми железными шестоперами; дальше везли огромные стенобитные пушки, высокие туры, тянулись выючники, обозные, и служители вели за шелковые поводья запасных воеводских коней. Так подвигалось воинство к Виттенштейну, от которого Курбский и Адашев устремились на Феgefейер.

Пал Феgefейер. Ни тучи камней, летевших с раскатов, ни гроза огнеметных орудий, ни высота крепких стен, ни глубина широких рвов не могли защитить его. Воины ливонские, угрожаемые от русских опустошением и проклятиями от епископа Ревельского, хотели остановить Курбского; пламень открыл ему путь: с приближением ночи Феgefейер запылал; страшное зарево с горящих башен хлынуло по небу, осветило ток быстрой реки, железные подъемные мосты, грозные утесы, темные пещеры; и в сие время меч Курбского губительней пламени заблистал на высоте Феgefейера. С зарей над пеплом развалин раскинулась русская хоругвь. Часть стен обрушилась в глубокие рвы. Громада камней осталась на месте великолепной палаты, в которой епископ Ревельский некогда угощал рыцарей.

Подобно буре опустошительной, Курбский и Адашев протекли по области Коскильской. Поля потоптали конями, замки истребили огнем. Русская сила одолела ливонскую гордость; ратники серебром и золотом угрузили обозы; гербами, сорванными со стен, разводили огонь.

Войско быстро переходило от одной усадьбы к другой, страх предтекал ему, и богатые жители прекрасных мест, оставляя дома свои, спешили спасти жизнь и свободу.

В одном из замков Курбский, который всегда щадил слабость и приветливо обходился с побежденными, увидел старца, изнуренного страданием, на одре болезни. Никого не оставалось при нем в пустых покоях, кроме верной собаки, которая одна не покинула больного господина и с лаем бросилась на вошедших воинов. Удар палицы – и бедное животное погибло бы, но Курбский вырвал палицу из рук замахнувшегося ратника. «Не бесчесть оружия!» – крикнул он и подошел к старцу. То был рыцарь Гуго фон Реден. Неблагодарные слуги его разбежались, видя приближение русского войска. Оставленный своими, Реден не ожидал от врагов пощады.

¹⁰ Так назывались простые круглые шишаки ратников.

Курбский старался успокоить страждущего и приказал одному из воинов неотлучно быть при Редене, пока не возвратятся разогнанные страхом служители замка.

– Да благословит тебя небо за сострадание! – сказал Реден. – Но я лишился всего, что имел драгоценного в жизни, и жду смерти, как последнего блага.

Узнав, что единственный внук Редена захвачен в плен в немецком отряде под Виттенштейном, Курбский велел освободить его для утешения последних дней немощного старца.

Юноша, закованный в цепи, слышал от товарищей, какая участь ожидает его в Пскове – куда ссылались пленные. Воспитанный в избытке и роскоши, он представлял себе весь ужас неволи – вязни, так назывались пленники, укрываясь от стужи и непогод в ямах, томимые голодом, выходили, подобно привидениям; с жадностью кидаясь на хлеб, бросаемый им за ограду. Блестящие мечты уже исчезли в его воображении, надежды замерли в сердце, – и вдруг он возвращен в дом отеческий!

Курбский был при свидании старца с внуком, видел радостные слезы их. Между тем как многие в стане роптали, что воевода уменьшает число царских пленников, и тайные враги Курбского стремились к достижению своей цели, молва о сем достигла до пленников ливонских, взятых под Виттенштейном. Чего не могли вынудить у них страхом, в том успело великодушие. Один из пленников просил быть представленным Курбскому, и воевода узнал от него, что не далее, как в восьми милях от русского войска, остановился прежний ливонский магистр Фюрстенберг с сильным отрядом и, огражденный болотами, выжидал случая напасть с верным успехом.

– Не нам ожидать Фюрстенберга: пусть он ждет нас! – сказал Курбский и под прикрытием ратников, отправя в Юрьев обозы, отягощенные добычей, оставил при себе полк яртоульный, всадников легких и смелых и вместе с Адашевым, задолго до рассвета, двинулся вперед.

Забелел день, и россияне уже считали второй час от восхождения солнечного, когда войско с трудом пробралось сквозь чашу густого леса и увидело перед собой вязкие болота, поросшие мелким кустарником. Воеводы тронулись вперед и за ними ратники, сперва строем, но вскоре принуждены были разделиться на малые отряды, стараясь миновать болота излучистыми дорогами; но чем далее, тем опаснее был путь, и наконец воинство увидело себя окруженным отовсюду болотами. Ратники стелили хворост, кидали камни, сыпали землю... Курбский остановился, наблюдая, как перебирались всадники, как малорослые кони их, боясь увязнуть в тине, медленно подавались вперед, ощупывая ногою надежную землю.

– Счастье твое с нами! – сказал Даниил Адашев Курбскому. – Если бы нас было втрое более, – когда бы Фюрстенберг вздумал искать нас, он здесь бы нас встретил и положил.

– С каждым шагом мы ближе к нему! – сказал Курбский. – Вперед, воины!

Аргамачи, грудью разбивая топь, стремились выбраться из болота. Кони, выбиваясь из сил, грузили в провалинах или с бешенством сбрасывали с себя неосторожных всадников. Так прошел целый день. Солнце уже низко стояло на западе.

– Еще немного, – кричал Курбский, ободряя всех, – я вижу вдалеке поле, еще немного, и мы выступим на твердую землю...

Внимая вождю, воины понуждали коней, и кони, всею силою вырываясь из мутной топи, по хворосту и буграм окреплой земли наконец вынесли всадников на широкое поле.

Солнце расстилало яркие лучи на западе; воины дали свободу усталым коням отдохнуть на мягкой траве.

– Еще подвиг ждет нас! – сказал Курбский. – Приготовимся ударить в ливонцев; между тем дворяне осмотрят, далеко ли от нас Фюрстенберг.

Присев с Даниилом Адашевым под старой липой, весенняя зелень которой златилась, раскидываясь против солнца, Курбский задумчиво смотрел, как светило опускалось на край небосклона. Он взглянул на Даниила и увидел, что тот омрачен был глубокою думой.

– Понимаю скорбь твою! – сказал Курбский. – Но когда объяснятся наши сомнения, увидим, чего ожидать. Скоро обнимем твоего брата и узнаем, в чем оправдать Турова...

Даниил молчал. Он только пожал руку Курбского.

– Кто имеет завистников, тот имеет и заслуги, – продолжал Курбский. – Надейся, друг мой! Царь благоприятно примет письмо твое.

Возвратившиеся дворяне известили, что немецкий стан в десяти верстах, что Фюрстенберг с многочисленным войском расположился на поле.

– Увеселим их победой! – сказал Курбский и сел на коня; за ним последовали все воины. Скоро закатилось солнце; багряная черта бледнела и угасла на западе; густой туман, как будто бы рекою разлившийся, поднимался с болот, слабый свет еще облекал западный край; в сумрачном востоке засияла луна, и чем далее текла по небу безоблачному, тем более проясневала чистейшая лазурь. Какой-то легкий свет, успокаивающий зрение и наполняющий негой сердце, разливался на все. Тихо шли кони еще усталые, глухой шум однообразно отдавался от шагов их, и ничто более не нарушало безмолвия ночи.

Но замелькал вдали рыцарский стан, и в самую полночь Курбский дал знак стрельцам отделиться и ударить на передовые полки. Ливонцы, услышав топот коней, оторопели и спешили отразить внезапное стремление неприятелей стрельбою, но удары были неверны; при блистании огней их – тем вернее разили русские стрелы; смятение распространилось в ливонских полках: все войско Фюрстенберга смешалось. Тогда Курбский врезался в ряды ливонские, и закипела сеча. Стесненные своею многочисленностью, осыпаемые с налета быстрыми ударами, ливонцы не успевали отбиваться мечами, и вскоре поле покрылось обломками немецких оружий. Русские сбили ливонцев и гнали их, вырывая мечи из их рук, свергая с коней, громя шестоперами, саблями, бердышами. Глубокая река заграждала путь; чрез нее лежал мост, и ливонцы устремились туда; но под толпами бегущих мост подломился, всадники с конями оборвались в реку, хлестнувшую пенным валом. Тогда Курбский усилил стремительный натиск. Страшный крик раздался, и бежавшие на мост ливонцы, в смятении порываясь вперед, падали с обрушенных бревен или, бросаясь с высоких берегов, опрокинутые конями, сдавленные доспехами, гибли в реке.

Едва магистр с немногими воинами успел пробиться; пользуясь лунной ночью, доскакал до отлогого берега и переплыл реку. Между тем еще продолжалась сеча. Луна исчезала, восток разъяснел, а еще слышался треск копий и мечей; но с воссиявшим солнцем последние из бьющихся рыцарей или легли на поле, или сдались победителям. Немногие из робких укрывались еще за пригорками, за деревьями и умножили число пленников Курбского. Стан магистра был взят на щит, и русские полки с торжеством вступили в Дерпт при громе труб.

На рассвете приспела в Дерпт новая дружина. Две тысячи охотников из Пскова и Новгорода, между коими много было сынов знаменитых родителей, взяли оружие, чтоб сражаться под хоругвией Курбского. При рассказах о подвигах его юные сердца их разгорались мужеством, и они, испросив слово посадников и благословение отцов на ратное дело, пришли участвовать с Курбским в битвах и славе.

Воевода встретил их радостно и, сведав, что Фюрстенберг со свежими силами спешит к укрепленному Феллину, послал легкий татарский отряд вызвать огнем и мечом Фюрстенберга из Феллина, а дружине охотников выжидать в засаде с полками, когда он появится, и опрокинуть его. Курбский предвидел последствия: Фюрстенберг будет снова разбит и одному счастию в бегстве – снова обязан спасением.

Еще были битвы и еще победы. Тщетно Фюрстенберг и ландмаршал Филипп Бель хотели поставить преграды Курбскому. Одно его имя уже было грозою Ливонии. Никто не мог устоять против его порыва, никто не удержал его. Ревнуя славе побед, Курбский не ожидал подкрепления; но Иоанн спешил одним ударом решить участь Ливонии. Шестьдесят тысяч воинов уже шли к Дерпту, и царские гонцы летели с разрядными списками к воеводам.

Глава IV. Свидание

Курбский, который не искал почестей, но случаев к подвигам, уступил другому начальство, принял звание воеводы передового полка, прославленное им в первом походе ливонском, и поспешил навстречу вступающему воинству.

Почтительно приветствовал он сановника царской думы и первого воеводу большого полка князя Мстиславского. За ним дружелюбно встретил воеводу Михаила Морозова; но при виде третьего воеводы изменился в лице. «Друг Адашев!» – вскрикнул он, стремительно соскочив с коня и бросаясь в объятия Алексея Адашева. Тут же встретил брата и Даниил Адашев.

– И ты идешь на Ливонию? – сказал Даниил, стараясь скрыть душевное смущение.

– Я желал отвратить меч Иоанна, – отвечал тихо Алексей Адашев, – но война пылает: иду служить царю, как воин его. – Братья сподвижники! Да совершится скорее жребий Ливонии, чем гибнуть ей в терзании медленном...

В это время раздался шум в толпах народа, окружающего воевод. Увидели князя Петра Шуйского, прославленного взятием Дерпта. Он вел правую руку воинства: смелых стрельцов, ратоборных казаков. Воевода сей, чтимый за славу мужества, умел заслужить любовь побежденных им. Граждане дерптские взирали на него с почтением; вспомнили его кротость, приветливость, благотворения.

Звучали трубы, народ толпился по тесным улицам Дерпта, даже кровли домов были покрыты любопытными; из длинных, с железными решетками окон смотрели рыцари и старейшины дерптские на русское воинство, проходящее в грозном величии.

– Помнишь ли, – говорил один из старейшин дерптского магистрата, Ридель, рыцарю фон Тонненбергу, – как два года назад въезжал сюда князь Шуйский? На этом самом месте мы его встретили с золотой чашей; пред ним развевалось белое знамя мира. Он обещал Дерпту тишину, благоденствие и сдержал свое слово.

– Помню, что он славно угощал нас в дерптском замке, – отвечал Тонненберг, – но признайся, почтенный Ридель, – прибавил он с лукавою улыбкою, – что ты не от сердца хвалишь эту тишину и благоденствие, а потому, чтоб не лишиться своих владений при Эмбахе.

– Для чего же ты, храбрый рыцарь, остался в Дерпте, владея крепким замком близ Нарвы?

– Я оставил замок свой на волю судьбы; ждал, что он будет сожжен если не московцами, то ливонцами; но, к счастью, он огражден лесами и отстоит далеко от большого пути.

– Жаль, если ты остался в Дерпте для прекрасной дочери бургомистра, Амалии Тиле; она последовала в Москву за отцом.

– Вот как мало ты знаешь меня, Ридель! Я не остался бы в Дерпте ни для Амалии, ни для твоей прелестнейшей дочери, для которой я готов на турнире переломать столько же копий, сколько выпить кубков в память твоих благородных предков. Нет, Ридель: клянусь, что готов отказаться от охоты, от вина и ласкового взгляда прекрасных, если уступлю самому Гермейстеру – в желании служить Ливонии. Знаю, что не только нас и светлейшего епископа Дерптского орденские братья укоряют в измене, но не сброшу с себя белой мантии, и сердце мое бьется для отчизны под крестом меченосца. Не мечом, благоразумный Ридель, мы можем сохранить отчизну. Ты видел замки разрушенные, поля под пеплом. Неотразимая рука Курбского, кажется, обрекает Ливонию гибели, – этого мало; ты видишь русские силы, видишь, какая новая туча готова разразиться. Признайся, что Ливония не может уцелеть от русских мечей...

– Как! – прервал его с жаром Ридель. – Феллин еще непоколебим, Рига недоступна, Фюрстенберг не унывает, мудрый добродетельный Бель еще жив, и отважный Кетлер – надежда отчизны – стоит за Ливонию. Литовцы, датчане, шведы дадут ей помощь...

– Этот щит, – сказал Тонненберг, – тяжелее меча Иоаннова. Ходатаев за Ливонию много, но каждый смотрит, как бы далее занести ногу на ее земли...

– Чем же можем мы быть полезны отечеству?

– Удерживая удары русских мечей, склоняя ливонских владельцев не раздражать бесполезным противоборством страшного противника. В Дерпте не осталось бы камня на камне, если бы Дерпт не сдался... Но верь, достопочтенный Ридель: все равно, кто бы ни обладал Ливонией, лишь бы мы сохранили поля наших вассалов, сберегли замки и города наши. Уступая судьбе и силе, должно помогать успехам русских воевод и словом сказать: служить Иоанну, чтоб служить Ливонии.

Ридель не отвечал и, казалось, погрузился в размышление, Тонненберг знал Риделя и его связи. Он был уверен, что сказанное не напрасно.

Вдруг откинулся ковер, закрывающий дверь, и вбежал, легкая, как ветерок, миловидная дочь Риделя.

– Минна сегодня долго была в церкви, – сказал Ридель, поцеловав дочь.

– Ах, батюшка! – отвечала, покраснев, Минна. – Пастор говорил сегодня длинную проповедь, и она показалась мне тем долее, – продолжала она, взглянув украдкой на Тонненберга, – что в церкви было пусто, а на улицах так тесно от московского войска, что мы с Бригиттой едва могли добраться до нашего дома.

– Признайся лучше, что ты любопытна и не столько спешила домой, как хотела посмотреть на московское войско?

– Это правда, но я смотрела более с боязнью, нежели с удовольствием, на это воинство. Это не рыцари: с шлемов их не развеваются густые перья; длинные кольчуги их не обнимают стройно стан, как рыцарские латы; золотые шпоры не звучат на ногах их, и на груди их не видно обета храбрости, креста меченосцев...

Отец громко засмеялся при этих простодушных словах, которые для Тонненберга были приятным признанием, что Минна равнодушна к нему.

Между тем русские воеводы собирались в дерптском замке. Мстиславский, сойдя с коня и остановившись у крыльца, еще раз оглядывая проходившие войска, шутя, сказал Даниилу Адашеву:

– Теперь ты, воевода от наряда, отворяй нам ворота городов ливонских! Смотри, – продолжал он, указывая на далеко протянувшийся ряд тяжелых орудий, – смотри, сколько великанов в твоих повелениях! Непоразимые слуги твои сокрушат твердыни ливонские!

Тихая ночь заступила место ясного дня. Звезды блестели на темной лазури неба. Близ дерптских ворот на далеком пространстве белели шатры. Усталые стражи, опираясь на бердыши, прислушивались к малейшему шуму; но так было тихо, что можно было слышать, как при полете ночной птицы вздрагивал чуткий конь, привязанный к жерди. Все смолкло в городе, все успокоилось, но в готической зале дерптского замка, в которой позлащенная резьба почернела от времени, еще беседовали три русских вождя. То были братья Адашевы и князь Курбский.

– Тесть мой прав! – сказал с жаром Даниил Адашев. – Он прав, устыдив клеветников твоих. Я также бы разорвал связь с Захарьиными.

– Брат! – отвечал Алексей Адашев. – Ветер волнует море, оскорбления раздражают врагов. Туров в темнице, и что всего горестнее, он за меня терпит, за меня понес опалу!

– Не опала постыдна, а преступление! – перебил его Даниил. – Чем виновен Туров? Обличением Захарьиных. Не оскорбись, Курбский! Знаю, что царица тебе ближняя сродница, но и ты знаешь, что ее братья всему виною. Я не узнаю Иоанна. Он верит Захарьиным. Но где был Сильвестр, что делал ты, Алексей, – любимец, друг царя? Или забыл Иоанн, что не Захарьины, а ты с Сильвестром открыл ему стезю, достойную величия царского? Чем заслужил ты ненависть? Чем навлек клевету?

– Не дивитесь, – отвечал Алексей Адашев, – что сияние царской дружбы, падая на юношу, не знаменитого родом, раздражило честолюбцев. Захарьины могли сетовать на возвышение Адашева и силу Сильвестра. Они возмутили подозрением спокойствие Анастасии; внушили, будто бы Сильвестр и Адашев, тайные недоброжелатели ей, ждут только кончины царя, чтоб посягнуть на измену сыну царицы и предать трон князю Владимиру Андреевичу.

– Тебя ли подозревать, – сказал Курбский, – когда целью всех дел твоих было благоденствие России и слава Иоанна?

– О други, что говорите обо мне, когда и Сильвестр устранен от Иоаннова сердца. Беседы его стали в тягость царю! Иоанн, стыдясь уже слушать советы от бывшего священника новгородского, забыл в нем мужа, который во время бедствия предстал ему вдохновенный истинною, и, мудрый опытом, тринадцать лет поддерживая кормило правления. Сильвестр, видя, что время его миновало, с лицом светлым благословил Иоанна и отошел в обитель пустынную.

– Иоанн не совсем еще изменился к тебе, – сказал Даниил, – если по навету Захарьиных он желал удалить тебя, то для чего же почтил званием воеводы большого полка?

– Огонь светильника, истощаясь, еще вспыхивает – и угасает. Иоанн отказал просьбам и слезам моим о прощении Турова... «Он не чтит царского рода, – сказал государь, – он раб-зложелатель. И ты, – продолжал он с гневом, – неблагодарный любимец, хочешь мне преграждать пути к славе моей!» Тогда он напомнил слова мои, что благоденствие России не требует разорения Ливонии. – «Государь! – отвечал я. – В царской думе я говорил как призванный тобою к совету, но, как слуге твоему, дозвожь мне пролить мою кровь за тебя в войне ливонской». «Иди воеводою с князем Мстиславским», – так сказал Иоанн, – и Адашев с вами.

– А зависть и злоба не дремлют! – сказал Курбский. – Кто заменит царю тебя и Сильвестра? Пылкое сердце Иоанна любило добродетель, но опасно волнение кипящих страстей его.

– Анастасия успокоит их, – отвечал Алексей Адашев.

– Нет, она доверяет братьям своим, – сказал Даниил, – и Туров – жертва мести их...

– Он великодушно переносит бедствие, – проронил Алексей.

– Нет, я не могу этого так оставить, – сказал Даниил. – Я поспешу в Москву, паду к ногам Иоанна, покажу ему раны, которые понес за него в полях казанских, в степях ногайских, и когда первый я вторгся в Крым и заставил трепетать имени Иоаннова там, где русская сабля еще не обагралась кровью неверных! Я сниму золотые с груди моей и буду просить одной награды – оправдания невинному старцу; или разделю с ним жребий его, или царь с него снимет опалу...

– Успокойся! – сказал Курбский. – Иоанн вспомнит Адашевых. Обратимся к самой Анастасии для защиты Турова. Усыпим зависть братьев ее дарами от корыстей ливонских. Еще есть надежда.

Глава V. Великодушный пленник

Крепкий Феллин был оградой Ливонии: Адашев обдумывал средства овладеть им. Между тем в русский стан дошел слух, что Фюрстенберг для охраны военной казны и запасов хотел отправить их в Гапсаль, лежащий у моря. По совету Алексея Адашева, воеводы разделили войско. Одна часть полков с воеводою Барбашиним должна была обойти Феллин и преградить путь Фюрстенбергу; другая, сильнейшая, пошла вдоль берега глубокого Эмбаха, а по волнам на судах потянулись тяжелые картауны¹¹, грозящие Феллину.

Барбашин спешил, невдалеке уже чернели городские башни Эрмиса; июльское солнце палило, пар подымался с хребтов усталых коней. Между тем в Эрмисе ландмаршал Филипп Бель с немногими, но храбрейшими рейтарами и черноголовыми витязями нетерпеливо ожидал случая к победе – и, сведав, что русское войско показалось на поле перед Эрмисом, налетел на передовые отряды. Стражи ударили тревогу; но Бель, опрокинув их, вторгся в середину войска – и загремела отчаянная битва. Далеко слышались треск оружий и крики сражающихся. Вожатые ополчения Алексея Адашева поспешили из-за леса на шум битвы, и воевода, быстро обойдя неприятелей, окружил, стеснил изумленного Бея. Сколько ни порывался храбрый ландмаршал, разя и отражая, сколько ни отбивались шварценгейнтеры, закрываясь щитами, отличенными головою Мавра, но щиты их разлетелись в куски, черные брони иссечены, голубое знамя растерзано. В русских полках раздался клик победы, и Бель по трупам своих и россиян, вырвавшись из сомкнутых рядов, понесся к городу на быстром коне; но за ним ринулись русские всадники. Его настиг сильный Непея, слуга Алексея Адашева, и, богатырскою рукою удержав его коня, взял в плен знаменитейшего мужа Ливонии.

Перед Феллином сошлись все воеводы торжествовать победу. Повелели представить пленника. Появившись перед собранием русских вождей, благородный старец приветствовал их, но не с робостью, а с величием витязя доблестного; пожал руку простодушного Непеи и с веселым лицом сказал:

– Старость немощная должна уступить бодрой юности!..

– Но для чего ты осмелился напасть на полки многочисленные? – спрашивали его воеводы.

– Победители знают, что сила не в числе, но в мужестве воинов, – отвечал Бель. – Вы сражались для добычи, а я за отчизну!

Вожди были изумлены храбростью Бея. Курбский подошел и обнял его. Окруженный вождями, Бель не столько казался пленником, сколько военачальником, равным им.

– Скажи ему, князь, – сказал Мстиславский Шуйскому, – что у нас тяжело быть в плену и чтобы он поберег веселость свою.

– Воевода! – отвечал Бель. – Случай сделал меня пленником, но веселость – дочь спокойствия и мать терпения; дозвожь же не разлучаться мне с таким прекрасным семейством.

Прошло несколько дней, и воеводы, желая насладиться беседой мудрого Бея, пригласили его к пиршеству.

Старец сидел за столом между Курбским и Алексеем Адашевым. Мальвазия лилась в немецкие драгоценные кубки, и золотая неволя¹² переходила из рук в руки.

Бель отказывался от кубка, но сам Мстиславский сказал ему:

– Мы отдаем честь твоей храбрости в битве; не нужно быть робким и в пиршестве. Это мой походный дедовский кубок, и на нем надпись: «Неволюшка, неволя, добрая доля. Пей, не робей!»

¹¹ Старинные большие пушки.

¹² Так назывался кубок, который, взяв в руки, нельзя было иначе поставить на стол, как опрокинув.

– Пей! – повторили воеводы и пожелали Ливонии прочного мира.

Бель выпил.

– Так! – сказал он. – Ваше мужество водворит мир в Ливонии; но следами его будут пустые поля, развалины городов, могилы детей наших!.. Не того ожидали отцы наши. Было время, когда Ливония не страшилась врагов. Сильные верою торжествовали над силой. Твердые в добродетелях умели защищать отчизну и умирать за нее. Господь был за нас. Хвалимся славным преданием: в битве кровавой с воинством Витовта пал орденский магистр Волквин, избрали другого, и тот пал! Еще избрали, но, сменяясь один за другим, еще четыре орденских магистра легли за отчизну. И наши отцы были достойны столь славных предков. Но когда мы отступили от благочестия и забыли веру отцов, Бог обличил нас гневом своим. Прародители воздвигли нам твердые грады, вы живете в них! Они развели нам сады плодоносные, вы наслаждаетесь ими. Но что говорю о вас? Ваше право – право меча; а другие, коварно лаская нас, обещая нам помощь, захватывают достояние наше. Несчастливая отчизна моя, ты гибнешь и от врагов, и от мнимых друзей!.. Оковы...

Слезы помешали говорить ему.

– Оковы бремят меченосцев! – продолжал он. – Но не думайте, что превозмогли нас храбростию: нет! Бог за преступления предал нас в руки ваши. Но благодарю Бога, – сказал Бель, отерши слезы, – благодарю, я страдаю за любимое отечество!

– Еще имеет Ливония мужей доблестных, – говорил князь Шуйский. – Найдется не один Тиль.

– Не много подобных ему! – отвечал Бель. – Тиль убеждал граждан жертвовать богатством для спасения отечества. Наша драгоценность – мечи; спасем ими родину. Пожертвуем золотом, найдем и помощь и войска умножим. Не отвечали на призыв его и не дали золота.

– Но шесть лет сражались как рыцари, – сказал Шуйский.

– Великодушие крепче силы – и Дерпт тебе сдался, – отвечал Бель.

– Я слышал, – продолжал Шуйский, – что когда оставалось печатью скрепить договор – старик Тиль еще раз вызывал, кто хочет идти с ним – умереть за родину?

– Так! – сказал Бель. – Но в Дерпте много буйных Тонненбергов, а Тиль был один.

Беседуя с Мстиславским, Курбский не вслушался в его слова.

– Люблю вашего Паденорма! – сказал Шуйский. – Мы разрушили стены, сбили башни – он не сдавался; мы овладели городом, а он все еще отбивался и не сдался. Почитая доблесть, я дозволил ему выйти с честью с его витязями.

– Я видел его, – сказал Курбский, – израненный, покрытый пылью и кровью, он выходил из города, от утомления опираясь на двух рыцарей. Черные волосы его разметались по броне; один из рыцарей, поддерживая его, нес его шлем, другой – щит.

– Счастливее его был ваш Андрей Кошкаров, – сказал Бель. – С горстью воинов он отразил от Лаиса все ополчение нашего Кетлера.

– Есть еще у нас витязи! – воскликнул Шуйский. – Даниил Адашев на крымской земле, сам построив лодки, взял два турецких корабля; корабли оставил, пленных помиловал, а чтоб не кормить даром, отослал к турецким пашам в Очаков. А Курбский наш с братом Романом в воротах Казани, с двумястами воинов остановил десять тысяч татар!

– Хвала храбрым! – раздался крик пирующих. – Наполняйте кубки.

– Кубки знакомые, – заметил Бель, – они стучали на столах нашего Гольдштерна и заглушали стон вассалов его.

– Да, – проговорил Курбский, – не помогло богатство Гольдштерну. Цепь золотая в полпуда блистала на нем, но в нем – золотника мужества не было.

Курбский, извещая Иоанна о победах, писал к нему о милосердии к Турову; к добродетельной Анастасии о заступлении за друга его. Но в тот самый час, когда оканчивал он письмо, свершилось бедствие неожиданное. Нетерпеливо ожидал Курбский ответа, еще нетерпеливей

Адашевы, готовясь на решительный приступ к Феллину. Вдруг поразила всех громовая весть, что Россия осиротела царицею, что Анастасии не стало...

Глава VI. Клевета

Уже две недели не умолкала гроза войны перед Феллином. Гранитные ядра, раздробляя камни, врезались в твердые стены. Долго стоял оплот Феллина; наконец, с разных сторон пробитый ударами, рассыпался и открыл путь воинству русскому; но еще за рвами глубокими возвышались на крутизнах три крепости, и с древних башен, и с зубчатых стен, и с валов, поросших мохом, зияли ряды медных жерл, готовых встретить адом смелых противников. Там был и сам магистр с наемниками, служившими за ливонское золото. Там были собраны сокровища рыцарей.

В это время из Псковопечерской обители прибыл в русский стан священник Феоктист.

– Бьет челом воеводам ваш богомолец игумен Корнилий и прислал к вам со мною благословенные хлебы и святую воду, – говорил он князьям и боярам.

– Да будет предвестием радости твое пришествие к нам в дни скорби! – сказал князь Мстиславский.

– Господь споспешествует вам, воеводы доблестные, – говорил смиренный иерей, – молитвами Владычицы Господь да поможет вам преложить скорбь на радость. Он воззвал от земли царицу, но не отъемлет от вас благодати своей!

С этими словами, взяв кропило с серебряного блюда, поддерживаемого иноком, и крестообразно оросив святою водою хоругви ратные и вождей, Феоктист сказал троекратно:

– Сила креста Господня – да будет вам во знамение побед!

И в тот же час ударили из всех пушек в проломы стен феллинских; вспыхнуло небо, застонала земля. При мраке наступившей ночи посыпались на верхний замок каленые ядра, пробивая кровли зданий, и с разных концов Феллина пламя, вырываясь столбами сквозь тучи дыма, слилось в огненную реку, стремившуюся к валу крепости. Клокотало растопленное олово на высоких кровлях, с треском падали башни и рушились пылающие церкви.

По темным переходам, по извивающимся лестницам вооруженные рыцари спешили в обширный зал Фюрстенберга, освещенный заревом пожара, которое отражалось в Феллинском озере. В этом зале старец, уже сложивший с себя достоинство магистра, указывая обнаженным мечом на пылающий город, убеждал воинов быть верными отчизне и чести.

– Нам нет пользы в обороне, – говорили наемные немцы. – Откуда ждать помощи? Лучше сдать город, чем в нем оставаться и ждать смерти.

– Берите мое золото! Разделите мои сокровища! – воскликнул бывший гермейстер. – Но сохраните вашу честь!

– Запасы кончаются, мы должны сдать, гермейстер! – говорили наемники.

– Мы не сдадимся, пока меч будет в руке! – закричал Фюрстенберг. – Московцы в Рингене не сдавались нам, пока не истратили до последнего зерна пороха, а до нас нелегко достигнуть под огнем пятисот пушек.

– Нет, гермейстер! – отвечали наемники. – Мы не останемся на явную гибель. Московцы нас выморят голодом. А с одних блюд сыт не будешь, то знают послы твои, когда пустыми блюдами царь угостил их в Москве.

Фюрстенберг снова стал укорять малодушных, но в это время зал наполнился народом. «Домы наши горят! – кричали женщины, повергаясь с воплем к ногам магистра. – Спаси детей наших!»

На рассвете в московский стан явились посланные для переговоров. Они объявили, что Феллин сдастся, если Фюрстенбергу с воинами и со всеми жителями русские не воспрепятствуют выйти из города.

Воевод созвали на думу. Алексей Адашев убеждал дать каждому из жителей Феллина свободу остаться или удалиться из города.

– Но для славы царя, – говорил он, – мы должны отказать магистру. Сей пленник нас примирит с Ливонией.

– Он должен остаться у нас вместо дани, которую Божьи дворяне¹³ пятьдесят лет платить не хотели, – сказал князь Горенский.

– Никого не выпускать! – сказал татарский предводитель, царевич Бекбулат, оправляя на голове узорчатую тафью с яхонтами. – Они научили русских воинской хитрости; пусть же кровью за безумство заплатят!

– Так, царевич! – проронил Мстиславский с усмешкой, покачивая татарским сапогом, унизанным жемчугом. – Но кто же научил Димитрия победить Мамай? Соглашаюсь с Адашевым: выпустить в Вельяна всех, кроме магистра.

– И его золота, – прибавил князь Горенский.

– Дельно, князь! – воскликнул Мстиславский. – Ты царский кравчий, не позволяй же ни одного кубка вынести!

– Нет, – сказал Алексей Адашев, – пусть ливонцы сетуют на себя, а хвалятся великодушием русских. Тогда города ливонские нам добровольно сдадутся.

– Иоанн желает обладать Ливониею, а не ее золотом, – сказал князь Курбский. – В Москве целые улицы кладовых с царскими сокровищами.

– Но согласится ли Фюрстенберг отдаться нам? – спросил Шуйский.

Мстиславский говорил, что можно обнадежить магистра в милости Иоанна, уверить царским именем, что государь почтит его сан и на Москве даст ему по жизнь город удельный.

– Если не будет на то воля царя, – прибавил Мстиславский, – то пусть возьмет он от меня Ярославца и Черемшу, отчинные мои города, и с моими боярами отдаст их магистру, лишь бы не ввел меня в слово, за царское имя его!

Жертвуя собой за спасение других и бросив взгляд презрения на малодушных, Фюрстенберг вышел из крепости. Но бессильно презрение над сердцами продажными. По отбытии гермейстера наемники бросились на оружие, не для защиты, но чтоб разломать сундуки его; забрали золото, расхитили все драгоценности и поспешили выйти из города, между тем как правитель Ливонии предстал перед воеводами русскими.

Князь Мстиславский, проведав о сем, повелел настигнуть изменников и сорвать с них до последней одежды их. Предатели Феллина пришли обнаженные в Ригу, на казнь – народ умертвил их...

С удивлением взирали победители на грозные стены трех крепостей Феллина, которые, стоя на высоте и с другой стороны облегаемые тремя озерами, могли бы остаться необоримыми под защитою полутысячи пушек, если б с магистром было столько же храбрых воинов.

Вступая в Феллин, Мстиславский приветствовал воинство.

– Сподвижники доблестные! – говорил он. – В Ливонии не было дня славнее для нас. Взятием Юрьева не столько хвалились мы: Юрьев издревле был наследием русских князей, но Вельян¹⁴ – сердце Ливонии. – Видите сами: вере не подобно¹⁵, какую крепостью огражден он. Велика к царю православному Божья милость. Боязнь ослепила очи противников; хвала вам! Вельян взят. Магистр в плену. К царскому имени прибавится титул государя ливонской земли.

– А Вельянский колокол пусть благовестит в Псково-Печорской обители, – сказал князь Горенский, и за ним повторили все воеводы.

Далеко грянула гроза от стен Феллина, Курбский пошел к Вольмару и оттуда, победитель нового ландмаршала, устремился к Вендену, поразил Хоткевича, спешившего на помощь

¹³ Так русские называли ливонских рыцарей.

¹⁴ Русские называли Феллин Вельяном.

¹⁵ Выражение того времени.

Ливонии, рассыпал отряды литовские. Быстро знамена их обратно неслись за Двину, от сверкающих русских мечей.

Таковы были подвиги Курбского; но тяжкая была дань заслугам его. Негодование выразилось в письмах Иоанна. «Ты побеждаешь с нашими воинами, – писал к нему царь, – ты взыскан нашею милостью, а в душе служишь обаятелю Сильвестру и роду Адашевых. Хвались предками своими – князьями ярославскими, но не располагай царскими пленниками и не дерзай оправдывать злоумышленников; чти мою волю и служи верно».

Сердце Курбского было удручено; он таил скорбь свою. Не молчал пылкий Даниил Адашев, и сколько ни убеждал его брат, Даниил, отказываясь от сана воеводы, просил от Иоанна дозволения явиться в Москву.

В то же время воеводы поражены были страшной вестью: Бель погиб. Грозно встретил его Иоанн. «Не постыдит нас любовь к отчизне, – сказал он Иоанну, – постыдит кровопролитие победителей наших!» «Не так должно ратовать царям христианским. Смерть тебе за противное слово!» – вскричал Иоанн. Мгновенно увлекли старца... Вдруг одна из искр, еще согревающих Иоанново сердце, угасающая искра милосердия, вспыхнула в нем. Он повелел остановить казнь, но царскому посланному указали на труп обезглавленный и землю, обогренную кровью.

Участь Беля нанесла глубокую рану сердцу Алексея Адашева.

«Не здесь, так увидимся там!» – вспомнил он последние слова Беля. Все воеводы сетовали с Адашевым.

Наступала буря – и вдруг разразилась. Курбский стремительно вошел в палату Алексея Адашева. Черты князя изменились от борьбы душевной; в волнении бросился он на скамью.

– Обвинены! – сказал он Адашеву. – Ты и Сильвестр обвинены в чародействе! Вы извели царицу, вы очаровали ум Иоанна!

Адашев от изумления безмолвствовал.

– Испытание тяжкое! – сказал наконец, вздохнув, Адашев. – Но пред нами Податель терпения. – И он указал на образ, который он брал с собою во всякий путь, – образ распятого Спасителя.

– Скажи, какова лютость человеческая? – спросил Курбский. – С чем сравнится злоба твоих гонителей?

– Я вижу слабость души их, – молвил Адашев, – и жалею о них. Они сами себя наказуют своим преступлением. Но пятно клеветы столь мрачно, что я должен отмыть его, должен оправдать себя. Хочу стать лицом к лицу с обвинителями.

– Ты посрамишь их, ты возвратишь себе Иоанна и возвратишь Сильвестра России! – сказал Курбский.

Адашев решил просить Иоанна о личном суде с доносителями и прибегнуть к посредству первосвященника, митрополита Макария.

«Если виновны мы, да подвергнемся смерти, – писал к Иоанну Адашев, – но пусть будет нам суд пред тобою, пред святителями, пред Боярскою думою». Того же просил и Сильвестр.

Глава VII. Дом старейшины дерптского

Все воеводы знали о доносе на Адашева, но не видели его унижения. С тем же величием души, как и прежде, он беседовал с ними; с тем же усердием подвизался для Иоанновой славы. Торжествуя кротостью, он не однажды отвращал пламенник войны от замков и хижин, отдалял полки всадников от нив сельских, облегчал участь пленников, склонял командоров и фохтов ливонских уступать победу без кровопролития бесполезного; а внушения его человеколюбия были столь сильны, что и суровые воины смягчались сердцами и не смели даже и заочно преступить волю Адашева, как бы боясь оскорбить своего ангела-хранителя – невидимого свидетеля жизни.

Не в одном воинстве чтили Адашева – молва о его добродетелях обошла Ливонию. Многие из рыцарей ливонских старались снискать приязнь Адашева, – и особенно дерптский рыцарь фон Тонненберг.

Бывают случаи, в которых одна и та же цель представляется к успеху порока и к торжеству добродетели. Так, сияние солнца, помогая блистать алмазу, в то же время способствует кремнистой скале отбрасывать тень. Тонненберг умел согласить свои виды с желаниями Адашева. Казалось, он действовал из одного сострадания к единоземцам. Так думал и добродушный Ридель, привечая Тонненберга, в котором – может быть, и скоро – надеялся обнять зятя. Правда, о Тонненберге доходили до него разные слухи, но проступки его он относил к пылкой молодости. Тогда в беседах рыцарских кубки не сохали от вина, и потому многое, чего бы не извинили в наш век, считалось тогда удалством.

Ридель был богат, Минна – прекрасна. Удивительно ли, что Тонненберг старался ей нравиться! Между рыцарями Минна никого не видала отважнее; удивительно ли, что он нравился ей! Минна, не понимая чувств своих, краснея застенчиво, опускала в землю свои прелестные голубые глаза, встречаясь с красноречивыми взорами рыцаря, но снова желала их встретить. Тонненберг невинному сердцу льстил так приятно, что прелестное личико Минны невольно обращалось к нему, как цветок, по разлуке с солнцем тоскующий. При Тонненберге ей в шумных собраниях рыцарей не было скучно, без него и на вечеринках не было весело. Прежде Минна любила подразнить новым нарядом завистливых ратсгерских дочек, но когда привыкла видеть Тонненберга, то лишь тот наряд ей казался красивее, которым он любовался, и самое легкое, блестящее ожерелье тяготило ее, когда рыцарь отлучался из Дерпта. Сметливый отец уже рассчитывал, во что обойдется свадебный пир, а старушка Бригитта заботилась, вынимая из сундуков высоких бархат, дымку, ленты яркие, кружева золотые и раздавая прислужницам – шить наряды для Минны.

– Не торопись, Ева. Поскорее, Марта. Не по узору шьет Маргарита: жаль и шелков и дымки; а ты, Луиза, по бархату выводи золотою битью листы пошире, – говорила хлопотунья старушка. – Смотри, пожалуй! Марта не в пяльцы глядит, а любит в стенное зеркало на свою пеструю шапочку, расправляя по плечам разноцветные ленты! О чем она думает? Не о работе, а о песенке: Юрий, Юрий... Ой уж мне...

– Не брани ее, Бригитта. Пусть всякий думает о том, что любит, – говорила Минна, перебирая в ларце свои цепочки и кольца.

– А о чем задумалась Минна, рассматривая так пристально янтарное с кораллами ожерелье?

– Помнишь ли, Бригитта, я была в этом ожерелье на празднике командорши Лиленвальд?

– Где в первый раз увидели рыцаря фон Тонненберга?

– Да... – отвечала, покрасневшись, Минна.

– И потому-то оно вам полюбилося? А как понравится вам, – спросила лукаво старушка, повертывая высокою чернолисыю шапкою, – этот дамский наряд? Вы обновите его, когда вокруг богатой рыцарской колесницы будут толпиться по улицам Дерпта и друг другу шептать: «Смотрите! Вот едет молодая фон Тонненберг!»

Минна улыбалась. Вдруг она услышала в дальней комнате стук от опрокинутой шахматной доски и разлетевшихся шашек. Вошел отец.

– Этот человек всегда меня сердит! – сказал он.

– Кто, батюшка? – спросила Минна.

– Кому быть, как не спорщику Вирланду, который мне досаждаёт вечным противоречием.

– И все за шахматы?

– Нет, в тысячу раз хуже. Он вздумал порочить честных людей! О, если бы узнал фон Тонненберг, то Вирланд бы с ним поплатился!

– Этот Вирланд – несносный человек, – сказала Минна. – Он надоел мне насмешками, а еще больше – похвалами. Для чего, батюшка, вы пускаете его в дом?

– А кто будет играть со мною в шахматы и пилькентафель? Мало найдется таких игроков. Вирланд преискусно играет, хоть я всегда выигрываю.

Минна, зная язвительность Вирланда, не хотела и расспрашивать, что говорит он о Тонненберге.

Вирланд был дворянин, который выводил род свой от незапамятных времен, но, довольствуясь обширным поместьем, не добивался рыцарской чести. Нельзя было сказать, чтоб он не был остроумен, но всегда ошибался в своих расчетах. Природа отказала ему в приятной наружности: маленькие глаза его разбегались в стороны, рябоватое лицо не оживлялось румянцем, но в сердце кипели страсти, и сильнее других была, по несчастью, влюбчивость. Неудачи раздражали его, и, желая отыграть умом то, что он проиграл наружностью, он находил удовольствие противоречить всем и каждому. При всем том стоило прекрасной девушке сказать ему несколько ласковых слов, чтоб раздуть искру, тлеющую в его сердце.

Вирланд увидел Минну, и снова любовь заставила его позабыть все, о чем напоминали насмешники. Обманываясь милой улыбкой Минны, он рассчитал, что для получения руки ее нужно приобрести расположение отца ее и что для этого нужно угождать его склонностям. Ридель более всего любил играть в шахматы, и Вирланд проводил с ним целые вечера в этой игре. Ридель имел слабость сердиться за проигрыш, и Вирланд всегда доставлял ему случай выигрывать, а по расчету, чтоб скрыть умышленные ошибки, спорил с Риделем в каждой безделице.

– Ты не смог бы выиграть, – говорил Ридель, складывая шахматы и принимаясь за кружку пива.

– Очень бы мог.

– Но если бы я...

– Нет, вы поступили бы иначе.

– Ты споришь по привычке...

– Лучше спорить, нежели соглашаться по привычке, как заика рыцарь Зейденталь. Вчера я сказал ему: «Какое приятное время!» – «Д-да, вре-мя прият-тное!» – отвечал он. – «Жаль только, что ненастно». – «Д-да, не-е-настно». Я помирал со смеха.

– Правда, что он соглашается по привычке, – сказал Ридель.

– И этого не скажу. Он соглашается потому, что иначе он должен бы молчать, а молчать всю жизнь так же трудно, как баронессе Крокштейн перестать говорить.

– Или как тебе перестать насмешничать.

– Мне ли смеяться над такою почтенною древностью, которая каждое утро расцветает, чтоб восхищать беззубого Ратсгера Бландштагеля.

– Вот Ратсгера ты можешь бранить вволю.

– Совсем нет: Ратсгер человек добрый, и добрее, чем скряга фон Гайфиш, у которого и десяти дней не пировали на свадьбе; умнее, чем рыцарь фон Дункен, который на балах отживает свою молодость, и, право, Ратсгер более любит отечество, чем какой-нибудь фон Тонненберг, который ласкался около богатой дочки бургомистра, чтоб скорее пустить в оборот капитал его на гончих собак.

– Злословие, любезный Вирланд! Тонненберг и сам не беден.

– Да, в залесье, около Нарвы, у него остались какие-то развалины, в которых живут старые совы; или, как говорил он, у него есть обширный замок, где он бывает наездом, а скитается всюду и за несколько лет прожил целый год в Новгороде.

– Ты нападаешь на Тонненберга.

– Как нападать на такого великого рыцаря? Я говорю судя по росту его.

– Ты слышал, что он заслужил награду на турнире?

– Да, он получил награду потому, что ему хотели дать награду.

– Нет, потому, что он храбр.

– Нет, потому, что он за день дал пир и так угостил всех храбрейших рыцарей, что на другой день никого не осталось храбрее его.

Так Вирланд спорил с Риделем, не щадя в насмешках никого и особенно тех, которых считал для себя опасными соперниками. Впрочем, он умел, кстати, похвалить родословную Риделя, гостеприимство его, умение жить, не упускал случая сказать приветствие Минне, но скоро увидел, что, проигрывая в шахматы, в то же время проигрывал и в любви. Он слышал, как часто имя Тонненберга повторялось в устах Минны; он видел, как румянец живет и играет на щеках ее при входе рыцаря; видел, как трепетала рука ее, принимая от Тонненберга нечаянно упавшее колечко или сорвавшуюся с косынки жемчужинку.

Тогда Вирланд, теряя время за шахматами, стал проклинать свою расчетливую обдуманность, мешался в игре, сердил Риделя и смешил Тонненберга и Минну.

Тонненберг знал о злословии Вирланда, догадывался о причине, но не показывал неудовольствия, как будто не обращая внимания на язвительного насмешника. Вирланд и сам был довольно осторожен в присутствии рыцаря, и если иногда забывался, Тонненберг отвечал ему презрительным взглядом и не входил в спор. Иногда рыцарь даже хвалил Риделю остроумие Вирланда, сожалел с Минною о его страсти злословить. Однажды только, выведенный из терпения, он отозвал его в сторону и сказал ему: «Я прошу вас, любезный дворянин, не утруждать себя красноречием, чтоб побереечь вашу голову!»

Вирланд промолчал; но с того времени старался разведать о Тонненберге и спешил сообщить Риделю вести, которым старик не поверил и, споря, опрокинул с досады шахматную доску.

Оскорбленный недоверием, Вирланд в бешенстве возвратился в свой дом.

– Безумные надежды! Безумная страсть! – кричал он. – Я стал добровольно посмешищем. И к чему разuverять своенравного старика? Легкомысленная влюбилась в рыцарскую мантию. Пусть же обольет ее слезами! Но у меня еще осталось средство. Эстонец Рамме должен через два дня возвратиться, если письмо сохранено и Юннинген сдержит, слово, – тогда увидим!..

Минуло три дня. Минна сидела с Бригиттой в саду перед любимым своим цветником и забавлялась, слушая рассказы старушки.

– Теперь не надобно будет за четыре месяца до свадьбы созывать гостей, как было перед свадьбой вашей матушки, – говорила Бригитта. – О, если б не одолела московская сила и не заперла пути к Дерпту, тогда бы собрались и на вашу свадьбу благородные рыцари со всех сторон. Наехали бы и ревельский фрейгер, и рижские фохты; повеселились бы высокоименитые командоры и сам светлейший, владетельный дерптский епископ. А теперь каково-то он в Москве поживает? Бедные мы овцы без пастыря! Только скажу, что нет худа без добра: скорее

отпразднуем, а то бывало на свадьбе ли, на крестинах ли и вчуже – голова от пиროванья кругом пойдет. На ваших крестинах, барышня, гости две недели в замке без отдыха праздновали. Зато из кубков столько наплескали рейнвейном, что призвали конюхов завалить полы сеном. Было хлопот всем докторам в околотке – лечить рыцарей, из которых иной в это время влил в себя целую бочку рейнвейну... А все на свадьбе без бед не обойдется! При встрече жениха и невесты, как ни упрасивают званых гостей забыть прежние ссоры и на пиру всем быть друзьями, всякий, в знак согласия, поднимает вверх свою руку, а после посмотришь: вино всех перессорит.

– Я люблю видеть рыцарей на турнирах, а не на пирах, – сказала Минна, оправляя белокурый локон, скатившийся на ее румяную щечку.

– И еще любили смотреть на невест, когда их встречает жених, – сказала Бригитта. – Скоро ль я полюбуюсь, когда жених и званые гости встретят нас у городских ворот, и в честь вас, обертывая на скаку красивых коней своих, чепраками блестящих, будут в щиты стучать копьями; зазвучат трубы и флейты, и при пении, крике и ружейной стрельбе вы въедете в город. На вас будет жемчужный венок с дорогими камнями, и вы будете увешаны кольцами и золотыми цепями. Для каждого колечка место найдется.

– Мне трудно будет и двигаться, – сказала Минна.

– Тем лучше! Ведь вас повезут в колеснице. Пусть всякий видит, что вы дочь старейшины дерптского... А кому и быть богатым, как не ему? Правду сказать – и милый ваш рыцарь богат... Никогда серебром не дарит меня, все золотыми деньгами. Видно, у него их много в замке его. О, вы будете еще богаче.

– Ах, Бригиттушка, я думаю, счастье не в богатстве, а в любви того, кого любишь.

Бригитта продолжала выхвалять Тонненберга. Минне приятно было слышать о нем, но разговор был прерван прибежавшим растрепанным эстонцем, который, запыхавшись, едва мог промолвить Минне: «Госпожа-барышня, господин-батюшка кличет вас».

Минна весело побежала, но каково было удивление ее, когда отец сурово встретил ее.

– Минна! – сказал он. – С этого дня Тонненберг не появится в доме моем. Не отлучайся от Бригитты. А ты, – продолжал он, обратясь к старушке, – будь при ней безотлучно, ни на шаг из дома!

– Тонненберг не появится? – спросила Минна.

– Я не хочу и слышать о нем. Ты не должна и думать о нем!

Ридель вышел из комнаты, оставя Бригитту в недоумении и Минну в слезах.

В тот же вечер Минна слышала продолжительный стук в ворота дома Риделева, но не отпирали их; слышала грубый голос привратника и, взглянув в окно, увидела удаляющегося рыцаря. По белому перу на голубом шлеме она узнала Тонненберга.

Набегающие облака заслонили сияние вечернего солнца. Минне казалось, что лучшие надежды ее скрылись за облаком бедствия.

Глава VIII. Болезненный одр

Жизнь человеческая подобна дню, который то проясняется, то вдруг становится сумрачным. Но иногда бедствия, как тучи, соединяются, все вокруг нас облакают унылым мраком или озаряют грозным светом, и тогда только рассеиваются, когда солнце жизни нашей сойдет с небосклона и тишина смерти, как ночь, успокоит нас.

Так думал и Адашев, получив весть, что царь отринул просьбу его предстать на суд, повелел судить его и Сильвестра заочно. Доносители были и судьями их: признали их достойными казни; но как бы из одного милосердия, Иоанн, смягчив приговор, повелел Адашеву переменить титул воеводы на звание наместника выжженного Феллина и удалил Сильвестра на пустынный остров Соловецкий.

Наиболее скорбел Даниил Адашев, наиболее негодовал Курбский; но Алексей, в злополучии твердый, сохранил спокойствие души добродетельной.

– Суд на безответных! – говорил Курбский. – Да будут же безответны предатели в день последний! Но чтоб постигнуть всю дерзость, на которую они посягнули, чтоб понять всю злосчастную перемену души Иоанна, прочти грамоту нашего друга, с которою тайно прибыл ко мне Владимир – старший сын почтенной Марии...

Адашев узнал руку князя Дмитрия Курлятева: «И мы, друзья Адашевых, боимся прослыть чародеями, – писал Курлятев, – когда во всей Москве слух идет, что Сильвестр и Адашев одним волшебством успевали. Не знаем, верит ли в душе тому Иоанн, но видим, что обвинил их, а предстать к оправданию не дозволил».

Письма Адашева едва ли достигли Иоанна. Доносители могли не допустить их и трепетали при мысли о возвращении и Адашева и Сильвестра, зная, что появление их, как возвращение дня, покажет всю черноту клеветы безумной, во мраке кроющейся. Лесть предстала к трону в одежде сетования, и коварство под рясой смирения. Много молитвенный постник и воздыхатель архимандрит Левкий, иноки Вассиан и Мисаил стали наряду с обвинителями и судьями. «Премилосердный царь! – говорили клеветники Иоанну. – Уже по чародействам Сильвестра и Адашева и воинство и народ любят их более, нежели тебя; молятся за них более, нежели за царский дом твой. Увы, видели мы, бедные, что и тебя, великого и славного государя, они как бы в узах держали; враги здоровья твоего сокращали трапезу твою – ни яств, ни пития не давали в меру; а влекли тебя в землю казанскую чрез леса дремучие и пески палящие; когда же ты простер на Ливонию руку, тогда завистники славы твоей хотели остановить тебя; орла удержать на полете. Увы, государь! Не своими очами смотрел ты на царство твое; но когда отогнал от себя василисков чарующих, открыл очи на всю державу твою, сам и правишь, и судишь, казнишь рабов и милуешь. Денно и ночью вопием ко Господу в молитвах смиренных, чтобы ты не призвал Сильвестра и Адашева, да не погубят вконец царство твое, да не лишимся тебя, как лишились мы царицы безвременно».

«Так, – продолжал Курлятев, – они, растворяя яд смертоносный сладостию ласкательств, отравляли сердце Иоанна. Царь созвал думу. Но, когда прочли обвинение, митрополит Макарий встал с места своего и, обратясь к государю, пред всеми сказал: „Мы слышали обвинение, но не видим обвиняемых. Повели предстать им. Услышим, что скажут, и тогда дадим суд по правде“. Умолк первосвященник, безмолвствовал царь, смутились доносители; но, не ожидая царского слова, возопили: „Царю ли быть в одной палате с крамольниками? Обаятели и царя очаруют, и нас погубят! В присутствии их онемее язык обвинителей...“ Иоанн повторил слова сии, Сильвестр и Адашев осуждены».

– Что скажешь ты? – спросил Курбский, когда Адашев дочитал письмо.

– Друг! – отвечал Алексей Адашев. – Помнишь ли ты пение при гробе брата твоего, храброго князя Романа? Так житейское море вздымается бурейю напастей. Не скорби, Даниил!

Даниил Адашев, погруженный в мрачное размышление, как бы пробудился при сих словах.

– Но в чем обвиняют меня? – спросил он.

– В чем обвиняют! – сказал Курбский. – Ты – брат Адашева, ты – зять Турова; а здесь примечают за всеми нашими действиями, передают все наши слова...

– Пусть передают! – воскликнул Даниил. – Я сам предстану пред Иоанном, открою чувства души моей. Унижение тяжелее смерти.

– Отложи до времени отъезд твой, – сказал Алексей...

– Чего мне ожидать? Ты знаешь, какие вести получил я: жену мою три месяца не допускают в темницу несчастного отца, и безвестность о нем истомила ее. Она не встает с одра болезни. Все меня призывает в Москву. Я уже писал к Иоанну и жду его слова.

Через несколько дней некоторые из жителей Феллина увидели трех русских воевод, выехавших в поле за городские ворота. Всадники пронесли так быстро, что нельзя было разглядеть их внимательно, но можно было заметить, что один из них был без панциря, в черной одежде; чело его закрывали длинные волосы; но на груди, в свидетельство доблести, блестели золотые. Отъехав далеко по долине, два спутника прощались с ним; нельзя было разобрать их слов, но долго прощались они; наконец третий с усилием вырвался из объятий их, хлестнул коня и помчался в пыльную даль. Тогда двое других повернули обратно к Феллину, и когда любопытные ливонцы спросили проходящих воинов о них, то услышали славные имена Курбского и Адашева.

– Так это царский наместник Феллина? Это добрый Адашев? – говорили ливонцы, смотря на Адашева.

Часто прихотливая рука владельца полей заставляет светлый источник переменять течение, но где ни появляется он – везде благоденствует земле. Удаленный от двора царского в город ливонский, Адашев по-прежнему благоденствовал человечеству. Несколько городов ливонских хотели добровольно сдаться ему. Так торжествовала добродетель; но зависть гонителей желала торжествовать и над нею. Новые успехи Адашева причтены были к новому его чародейству. Внезапно повелел Иоанн заключить его в Дерпте и содержать под стражей. Содрогались воеводы, сетовали воины; далеко за стены городские провожали Адашева благодарные феллинские жители.

Уже не было при нем никого из друзей; Курбский расстался с ним, ведя воинов на ратные подвиги.

Только два верных служителя: добрый Непея и Василий Шибанов, любимый слуга Курбского, оставались при Адашове в башне дерптской, где суровые татарские стражи стояли у всех выходов и свет дня тускло проникал в толстые стены сквозь толстые решетки. Силы Адашева ослабевали, еще крепился он, преодолевая терпеливо болезнь, но столько быстрых переворотов, столько перемен неожиданных наконец победили изнеможением твердость его...

Прошел уже месяц со дня его заключения. Несколько дней служители замечали в нем какое-то уныние. В одну ночь Шибанов разбудил своего товарища.

– Непея! Боярин с кем-то разговаривает.

– Тебе так послышалось, – сказал Непея, – не меня ли зовет он? – И бросился в покой Адашева.

– Откуда прибыли послы и желают ли вступить в переговоры? – спросил Алексей Адашев вошедшего служителя.

Непея замер, не веря глазам своим.

– Я имею власть принять и отвергнуть предложения их, – сказал Адашев и посмотрел на Непею. – А, мой добрый слуга. Не ты ли захватил Бея? Жаль мне старца, но я буду умолять о пощаде его.

– Он казнен, – сказал Непея, вздохнув и покачав головою.

– Что говоришь ты! Он казнен! – воскликнул Адашев, силясь приподняться с одра. – Казнен! – повторил он и, закрыв руками лицо, отчаянно бросился на скамью.

Непья перекрестился, не спускал глаз с доброго своего господина и плакал.

Адашев умолк, но лицо его горело, он метался. Шибанов тосковал с Непеею, и оба не отходили от больного.

На другое утро Адашев, казалось, опомнился.

Шибанов подал кружку воды.

– Нет, – сказал Адашев, – вода не утолит моей жажды. Подай свиток!

Это был список апостольских посланий, начертанный рукою Адашева, который всегда с новым утешением его прочитывал.

Непья подал свиток, и Адашев успокоился.

По закате солнца болезнь приступила с новым порывом. Тоска и беспокойство усилились. Адашев забывался: то казалось ему, что он беседовал с Сильвестром, то думал, что видит Иоанна, то мечтал, что находится в семействе своем и приветствовал друзей своих, как будто бы его окружающих.

– Прочти мне, Курбский, твое предложение беседы Златоуста. Тише, тише... нас всех назовут чародеями и первого – тебя. Тебя не остановят в пути ни морозная зима, ни знойное лето. Ты понимаешь греков. Ты друг Максима. В глазах Левкия – ты чародей! Сильвестр и Адашев чародеи, по совету их издан Судебник. Мы обвинены, осуждены без ответа!.. Но государь! Сильвестр назидал тебя по власти веры, я говорил тебе по сердцу друга... О государь! Тебе открыто сердце мое! Ты наедине воспретил мне называть тебя царем, ты хотел, чтоб я тебя называл Иоанном... Верь, Иоанн, что мне любезна слава твоя, но добродетель в царе – любезнее славы... Иоанн, кто разлучает нас? Страшись ласкателей! Как моль тлит одежду, в которой кроется, так ласкатели тлят сердце, которому льстят. Презирай шутов! Царю нет времени слушать их, если он заботится о благе подданных. Страшись себя. Страсти, как огонь, распространяют вокруг себя тление. Угаси их – и будь над собой властелином. Повелевать собою славнее, чем повелевать другими. Государь, друг мой! Не предавайся в обман удовольствиям: излишество их истощает силы души. Удержи гнев твой. Милость – есть право царя на любовь народа. Помнишь ли, как славили имя твое, когда для меня ты возвратил из заточения мудрого старца, грека Максима. Покровительствуй знаниям полезным. Размысл¹⁶ помог тебе под Казанью. Чти храбрых, в ранах их сияет мужество. Не ищи Бога в отдаленных обителях, но ищи Его в благих делах на пользу царства. Не верь доносителям: на одно слово правды услышишь десять слов клеветы. Не по клевете ли Туров в темнице?.. Брат мой! Брат мой, Даниил! Не проклинай врагов. Ты проложил путь в царство Астраханское, полное мечей и копий... Ты везде побеждал. Победи себя. Увы! Вспомни слова: «Одним языком прославляем мы Бога и отца и проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию!» Из тех же уст исходят благословение и клятва. Но, брат возлюбленный, течет ли из одного источника вода сладкая и горькая...

Так говорил Адашев, он весь горел как в огне. Глаза его не могли узнавать окружающих. Тоскуя, в жару, бросался он из края в край одра своего; то вдруг вскакивал, то опускался без чувств на ложе; лицо его рдело, дыхание ускорилось, уста засохли – и ничто не могло утолить жажды его.

Иногда в исступлении он схватывал руки слуг, вскрикивая: «Слышите ли шум? Это бедные люди! Они пришли ко мне; на них ветхое рубище, дайте им от меня одежду. Голод томит их; призовите их ко мне: пусть они сядут за столом моим. Приблизьтесь, други, приблизьтесь! Я представлю царю челобитные ваши. Кто из вас несчастлив – я пролью с ним слезы; кто из вас беден – я разделю с ним избытки мои».

¹⁶ Так назывались инженеры.

Иногда, приходя в себя и тихий как ангел, он безмолвно смотрел на святую икону, но скоро снова впадал в забытие.

Напрасно усердный Непея приносил ему еду – Адашев не касался ее. «Поди, – говорил он, – в ту палату, которая в саду моем обсажена густыми деревьями; там найдешь ты десять несчастных, проказою страждущих: тело их в струпьях, но светла их душа. Отнеси им сии яства. Не говори о том никому: я тайно служу им в доме моем. Скажи, что я приду к ним омыть ноги их, они в язвах, а все несчастные – братья мои!»

Чаще всего Адашев вспоминал о супруге своей. «Подойди, – звал он, – соименница доброй царицы! Подойди, моя Анастасия, супруга милая! Ты усладила жизнь мою, я буду жить для тебя! Бог не дал детей нам, но Он послал нам сирот – и мы взлелеяли их как детей своих!»

Адашев таял в огне болезни. Так прошло восемь дней. На рассвете девятого дня послышался стук в железных дверях башни и вошел Курбский. Он спешил в Дерпт обнять несчастного друга...

Лампада отбрасывала слабый свет на высокие своды башни и на горящее лицо страждущего. У ног его плакал Непея, у изголовья его молился Шибанов.

– Увы! – воскликнул Курбский. – Ты ль это, друг мой, Адашев?

Адашев с усилием приподнял глаза и, как бы стараясь что-то припомнить, сказал изменяющимся голосом:

– Кажется, черты лица твоего мне знакомы! Кажется, я видел тебя в лучшие дни моей жизни?

– Алексей, ты не узнаешь меня?..

– Друг... прости!.. – произнес Адашев и тяжело вздохнул, слеза выкатилась из глаз его.

Курбский взял его руку и с ужасом почувствовал, что она охладела в руке его. Печать тления изобразилась на прекрасном лице: оцепенели уста, померкли глаза, но последний взгляд их был взглядом ангела, отлетающего к небесам. Вскоре лицо сие прояснело выражением спокойствия, которое показывало, что никакое угрызение совести, никакое преступное воспоминание не возмущало последних чувств сердца добродетельного.

В дерптской православной церкви Святого Георгия пели над гробом Адашева: «Житейское море, воздвигаемое зря напастей бурею, к тихому пристанищу твоему притек вопию», – и плакал Курбский, вспомнив слова друга, склонясь над гробом его.

И понесли тихо в церковную ограду гроб Адашева при бесчисленном стечении русского воинства, приезжих псковитян, новгородцев, рыцарей и граждан дерптских. День был пасмурный, но вдруг показалось солнце и блеснуло на гробе, опускаемом в обитель тления. Первая горсть земли туда посыпалась из руки Курбского. Шибанов и Непея, бросаясь на колени, рыдали над могилою, готовой сокрыть навеки славного мужа.

Глава IX. Похищение

Сколько раз ни возобновляется в мысли скоротечность жизни, но человек столь развлечен в чувствах, столь слаб сердцем, столь предан свету, что всегда с каким-то недоумением видит гроб того, который незадолго изумлял его или могуществом, или славою; дивится, словно случилось событие неслыханное. Самая зависть, неумолимо преследующая свои жертвы, на время успокаивается; самое злословие часто не дерзает бросать своих стрел за пределы гроба.

Так, враги Алексея Адашева, пораженные известием о его смерти, онемели на время. Один голос истины был слышен над прахом его. Ничто не мешало литься слезам благодарным.

– Мир тебе, добрый военачальник! – сказал поседельный гражданин феллинский, подойдя к могиле. – Тебя оплакивают не одни соотечественники, но и мы – чужеземцы; не одни те, с которыми ты побеждал, но и побежденные тобою.

Уже холмик набросанной земли означил место, где навеки от лица живых скрыли Адашева, как вдруг в толпе расходящегося народа послышался голос: «Покажите мне последнее жилище его!»

Неизвестный юноша, который, казалось, только что приехал из дальнего пути, шел поспешно к могиле Адашева.

– Поздно я прибыл! – воскликнул, всплеснув руками. – Я не застал тебя, я не простился с тобою!

Курбский узнал Владимира, сына вдовы Марии, преданной роду Адашевых. Но Владимир не видел его и, казалось, не видел ничего, кроме земли, которую орошал слезами.

– Отец несчастных, ты ли в могиле? Благотворитель наш, зачем ты оставил нас? Любимец царский, твое ль здесь жилище? Чужая земля приняла тебя. Осиротели друзья твои, осиротело отечество. Где ты, Адашев?

– Здесь все, что было в нем тленно, – сказал Курбский, указав на землю, – там, – продолжал он, указывая на небо, – все, что в нем было бессмертно.

Владимир взглянул на Курбского и прижал его руку к своему сердцу...

– Князь, я спешил, – сказал он прерывающимся голосом, – но уже не увиделся с другом твоим.

Все окружающие взирали с участием на слезы, бегущие из глаз благородного юноши, как вдруг появился полковой голова, сопровождаемый двумя татарскими всадниками, велел схватить его и наложить на него оковы.

– Остановись! – крикнул Курбский. – И чти мое присутствие.

Суровый голова обернулся.

– Князь! – проговорил он почтительно. – Таково повеление воеводы князя Мстиславского.

– Князя Мстиславского? – повторил в недоумении Курбский. – Что это значит, Владимир?

– Не знаю вины моей, – сказал юноша, слова эти были произнесены с той твердостью, которая свидетельствовала о его искренности, – но повинуюсь!

– Куда ведут его? – спросил Курбский.

– В стан князя Мстиславского.

– Я еду с ним! – сказал князь и, сняв цепи с рук юноши, бросил их татарам, а слугам велел подвести коней себе и Владимиру.

Голова сопровождал князя. Татарские всадники ехали в отдалении.

Глухой шум раздавался в народе. Каждый толковал по-своему о случившемся. Проходящие останавливались и с любопытством взирали на грозного русского вождя. В числе их был и отец Минны.

В то самое время, когда все внимание Риделя было устремлено на Курбского, кто-то из проходящих нечаянно толкнул дерптского старейшину.

Ридель, нахмурился, оглянулся и узнал Вирланда. Дворянин не скупился на извинения.

– Полно извиняться, любезный Вирланд, я уверен в твоём красноречии.

– А не в преданности? Нет, прошу отличать меня от рыцаря фон Зинтена, который толкает проходящих, хотя за триста лет предки его...

– Знаю...

– Толкались в поварне моих предков.

– Видно, что Зинтен сменил у тебя Тонненберга.

– О нет, между ними есть разница. Зинтен всех толкает от гордости, Тонненберг всюду вталкивается от низости. Только ему не везде удается...

– Да, у меня не удалось...

– То же и у Норбека.

– Как, он пировал у Норбека и свел с ним дружбу?

– Да еще удружил, подвел полк Адашева к его замку! Обнадеживал москвитян добычей, с тем чтобы самому быть в половине. Мало того: лицемер убеждал Норбека, что всего благо-разумнее сдать.

Ридель покраснел, вспомнив, что по внушению Тонненберга уговаривал многих рыцарей к сдаче замков их московским воеводам.

– Однако Норбек, – продолжал Вирланд, – едва было не разрубил приятелю головы. Если все, сказал он Тонненбергу, будут помышлять о сдаче своих замков, а не о защите их, то мы сами предадим врагам свою честь и отечество.

– Теперь не время противиться, – сказал Ридель, вздохнув, – нас гнетет судьба, в этом случае я не виню Тонненберга, но радуюсь, избавясь от него, и благодарю тебя, любезный Вирланд.

– Благодарите его самого. Если б письмо его к Юннингену не обличило его в бесчестных поступках, вы нескоро бы от него избавились.

– Знаешь, сегодня я встретил его. Он в двух шагах прошел мимо меня и глядел с такою смелостью, как ни в чем не виноват, будто бы и не заметил меня.

– Может быть, он не узнал вас по слабости зрения, – сказал Вирланд с усмешкой. – Тонненберг, впрочем, смог разглядеть, что вы богаты...

– Ты думаешь, что он хотел жениться из одного корыстолюбия?

– Нет, не из одного корыстолюбия: он корыстолюбив для мотовства.

– И, однако ж, при нашей размолвке он сказал мне: «Ты можешь верить этой клевете, а я не имею нужды тебя разуверять», – и более ни слова.

– Не правда ли! – воскликнул с пылкостью Вирланд. – Что он любил не Минну, а ее богатство? Можно ли так равнодушно потерять надежду быть супругом прекрасной?

– Но как согласить с корыстолюбием равнодушие Тонненберга?

– Равнодушие – было коварство. Он почувствовал себя уличенным и стал бы оправдываться, если б мог оправдаться.

– Я счастлив, – сказал Ридель, – что не погубил мою добрую Минну, не выдал ее за негодяя. Кажется, она забыла о нем, только не знаю, отчего более прежнего не терпит тебя.

Вирланд хотел улыбнуться, но видно было, что ему нелегка была эта улыбка.

– Да, – сказал он, – чего не случается на свете? Я слышал, что те, кто не терпел один другого, часто сильнее любили друг друга после брака, нежели те, которые до свадьбы бредили от любви... Любовь сильнее рассудка, а время сильнее любви.

Ридель задумался, он никогда не был расположен принять Вирланда в родство, сколько не хвалился дворянин знаменитостью предков. Он был нужен Риделю только для партии в пилькентафель.

– Откровенно скажу тебе, Вирланд, – проговорил старик, – что не выдам Минну против ее воли. Ей жить с мужем, и я не хочу, чтоб она жаловалась на отца.

Вирланд что-то хотел ответить, но оскорбленное самолюбие спутало его мысли.

– Что тебя выманило из дома? – спросил Ридель, стараясь переменить разговор.

– Любопытство, которое столько же сильно во мне, как своенравие в женщине.

– Ты видел погребение Адашева?

– Видел и радовался, что добрые люди оставляют свет, в котором им тесно от порочных, злых и глупых и где столько препятствия добру, столько гонения уму, столько досад и печали, что слишком невыгодно долго жить...

– Знаю я вас, нелюдимов! – сказал, усмехаясь, Ридель. – Вы браните жизнь, а пожить не откажетесь.

Они дошли до дома Риделя. У крыльца Вирланд хотел проститься.

– А партию в пилькентафель? – сказал Ридель. – Отобедай с нами.

Вирланд услышал голос Минны и решил идти за Риделем.

– Ах, Бригитта! – воскликнула Минна, взглянув в окно. – Опять Вирланд! Как же избавиться от этого бродящего злословия?

Слова эти были сказаны так громко, что Вирланд услышал их. Ридель вошел в комнату и поспешил к пилькентафелю, но Вирланд не следовал за ним.

Миновало несколько дней. Вирланд не приходил в дом Риделя, и Минна, к удивлению отца, снова сделалась задумчивой. Ридель заставал ее в слезах, и на вопрос его, отчего плачет, она отвечала: «Мне что-то скучно, батюшка».

Скука налетает на девушек при легчайшем ветерке своенравия, и Ридель не слишком тревожился, но шахматная доска и пилькентафель, потребность играть с Вирландом обратились в привычку. Наконец, он решил послать своего прислужника, толстого Книппе, просить к себе Вирланда, а сам между тем, чтоб рассеять туман, бродивший с утра в его голове, после пересудов в дерптском магистрате, взял свой родословный свиток, сел к цветному окну и, стряхнув пыль, стал рассматривать все ветви родословного дерева. Все, что слышал он о своих предках, тогда оживилось в его воспоминании.

Чувство удовольствия при обозрении расписанных золотом и киноварью кружков, отмечающих бытие Ратсгеров, рыцарей и многих Вильгельмин, Маргарит, урожденных фон Люберт, фон Тизенгаузен, мешалось невольно с чувством человеческой суетности. Сколько при жизни этих господ и госпож, подумал Ридель, было шуму от них, а теперь только одни имена их смиренхонько стоят в кругах родословной. Ридель вздохнул, взглянув на круг, в котором было имя последней отрасли его рода – имя Минны. Отцовская заботливость еще не видела имени, которое могло бы поддержать его род и обеспечить счастье дочери, для чего недостаточно одного богатства.

Книппе так замешкался, что терпеливый Ридель положил родословную в ларчик и, наполнив пивом большую оловянную кружку, обратил свое внимание от покойных предков на беспокойных гусей и уток, бродивших под его окнами. Так, в мыслях человека возвышенные предметы часто сменяются самыми мелочными, и случается, что герой, решивший судьбу царств, обращает внимание на мух, которые его беспокоят.

Ридель опорожнил кружку, а посланный все еще не возвращался, и старейшина, выходя из терпения, послал к Вирланду другого эстонца – поторопить ленивца Книппе.

Прошел еще час и, к досаде Риделя, оба посланных все не возвратились. Он послал третьего эстонца посмотреть, что они делают.

Лишь только третий ротозей вышел из дому, как второй пришел, но с трудом добрался до дверей и едва стоял на ногах, придерживаясь за изразцовую печку.

– Негодяй! – кричал Ридель. – Я тебя жду, а ты празднуешь. Где Книппе? Видел ли ты Вирланда?

Эстонец попытался что-то сказать, но вместо ответа пошатнулся и рухнул на пол.

Наконец, возвратился и третий посланный, немного исправней второго. С трудом понял Ридель, что Вирланд куда-то надолго отлучился, а слуги, в отсутствие господина, бросились в погреб, опустошили бочку вина, а с ними и Книппе.

– Добро, бездельники! – кричал Ридель. – Вас протрезвлять палками...

Он продолжал ругать их, как вдруг вбежала Бригитта и спросила:

– Не видали ли барышни?

– Что ты говоришь? – спросил Ридель.

– Не могу ее отыскать. Где она? Милая моя барышня!

– Ты с ума сошла, Бригитта!

– Посмотрите сами: ее нет... Доски из садового забора выломаны. Пожалуйте, сударь, посмотрите.

Ридель бросился в сад.

– Она сидела в беседке, – говорила плачущая Бригитта. – Я вышла в девичью посмотреть на шитье золотом, но, вернувшись, не нашла ее ни в саду, ни в доме...

– Это удивительно! Везде ли ты смотрела?

– Везде, сударь. Ах, какое несчастье! Я сама себя погублю, если что-нибудь случилось с барышней.

Ридель подошел к беседке, где высокий кустарник и густой плющ заслоняли забор, и заметил несколько выломанных досок; чрез отверстие можно было пройти человеку, но оно было снова заколочено, однако ж так плохо, что вставленные доски могли отлететь от одного толчка.

Злоумышление было очевидно; осталось убедиться в том, чему Ридель боялся верить.

Он обегал все углы дома и сада; оглядел каждую тропинку и возвратился к беседке. На кустарниках вокруг нее несколько ветвей было оторвано; другие наклонились к земле; в двух шагах от беседки Ридель поднял косынку Минны.

– Это ее косынка! – вскрикнула Бригитта.

– Чего же ты смотрела, злодейка? Чего ты смотрела! – закричал Ридель.

Бригитта от испуга затряслась.

Напрасно несчастный отец звал Минну. Нельзя было сомневаться в ее похищении. Оставалось открыть похитителя.

Выломанная часть забора выходила к лугу, который прилегал к стене дома Вирланда. С этой стороны похитителям безопаснее было войти. Заметно было по следам, что их было двое. Но все следы исчезли позади забора, где мелкая трава была притоптана копытами лошадей. Вещи Минны осмотрены и найдены в целости.

Начались допросы и поиски. Прежде всего подозрение пало на Тонненберга; но в тот же самый день Ридель встретил Тонненберга на улице, близ дерптской горы. Рыцарь кивнул головой Риделю и спокойно продолжал идти. Посланные тайно в дом, где жил Тонненберг, известили, что не только не видно было приготовлений к отъезду рыцаря, но он еще располагал прожить в Дерпте несколько месяцев. Допрашивали Конрада, конюшего Тонненберга; один вид этого простака и слова его убедили, что он мог бы отвечать, если б его спрашивали о лошадях господина, но более он ни о чем не знал и знать не хотел.

Соседство Вирланда и поспешный его отъезд навлекали на него особенное подозрение. На другой день, по распоряжению дерптского магистрата, допрашивали всех людей Вирланда; никто из них не мог сказать более весельчака Дитриха, который смешил судей своими отве-

тами. Он говорил: «Господин мой собирался ехать к рыцарю Юннингену, о котором я ничего сказать не могу; ни мне до него, ни ему до меня не было дела. В воскресенье господин поднялся раньше зари и велел приготовить для отъезда дорожную повозку, обитую внутри сукном с плаща его дедушки, а снаружи закрытую кожаны́м навесом от дождя, столько обветшалым, что сквозь него можно видеть солнце днем и луну ночью. В повозку впрягли трех лошадей, разной масти, но одного семейства; старшая доводилась бабушкой младшей и возила воду еще в бытность светлейшего епископа Дерптского. Пред отъездом господин призвал меня, сказав, что возвратится чрез несколько недель; а как слугам всегда веселей без господ, то я пожелал господину возвратиться чрез несколько месяцев. Мне велено смотреть за домом; я начал надзор с погребов и, увидев бочку, из которой сочилось вино, поспешил осушить ее, в чем и успел с помощью других усердных служителей. Кто пилил соседний забор – я не слышал; виноват, я привык ночью спать; впрочем, ни за кого не ручаюсь, в черной душе и днем темно видеть. За себя я могу присягнуть, что не похищал никого, и жалею, для чего никто не вздумает похитить мою жену, которая столько же любит ворчать, как я отмалчиваться».

В этот век любили шутов. Дитрих был выслушан благосклонно. Один Ридель хмурился и велел ему замолчать.

Ридель мучил свое воображение, желая открыть похитителя. Вспомнив последний разговор с Вирландом и сопоставляя все с разными обстоятельствами похищения и слухами о какой-то девушке, которая хотела выскочить из повозки у городских ворот, но была удержана неизвестно кем, он утверждался в подозрении на Вирланда, тем более что похищение, как видно, сделано было против воли Минны.

Молва о сем происшествии распространилась по всему Дерпту, но подобные случаи бывали довольно часто в Ливонии; поговорив об этом несколько дней – перестали; один Ридель не переставал горевать. Утрата дочери была такою потерей для его сердца, которую ничто не заменяло.

Вскоре прибавилось еще одно важное обстоятельство, решившее сомнения Риделя. Сидевший за плутовство в дерптской тюрьме плотник Ярви, работавший в доме Вирланда, сознался, что дворянин подговорил его подпилить забор Риделя. Ярви был приговорен к наказанию, но сумел скрыться из тюрьмы.

Итак, Вирланд изобличался в похищении Минны. Ридель требовал немедленно послать несколько ратников в замок рыцаря Юннингена, куда, по словам Дитриха, отправился Вирланд; но узнал в то же время, что Юннинген несколько дней уже находится в Дерпте.

Вечером пришли сказать Риделю, что рыцарь Юннинген хочет с ним говорить. Он вошел и, низко поклонясь, сказал:

– Именитый старейшина дерптский, я счастлив, если ты меня вспомнишь. Пять лет назад пировали мы на крестинах Фрейберга Броксвельда...

– Там было столько рыцарей, – сказал Ридель, – что трудно вспомнить, кого видел. Да и пир был таков, что, кроме шума, ничего в голове не оставил.

– Позволь, именитый старейшина, возобновить наше знакомство. Странный случай привел меня в Дерпт. Прошел слух, что дворянин Вирланд, которого я знал за человека опасного по злоречию, передал тебе письмо рыцаря Тонненберга, будто бы найденное мною в бумагах покойного моего брата.

Ридель поспешил показать Юннингену письмо Тонненберга. Оно обличало Тонненберга в предательстве, в разврате, в жестокости над вассалами, у которых он отнимал имущество и детей, оковывая цепями даже слепых стариков. В этом письме Тонненберг писал к брату Юннингена, что ждет только дня свадьбы, чтобы пустить в ход приданое Минны и бросить в огонь родословную и пилькентафель богатого сумасброда, будущего тестя.

– Почерк сходен с рукою Тонненберга, – сказал Юннинген, – но письмо явно подложное. Я прежде не водил с Тонненбергом знакомства и не стоял бы за него, если бы клевета не

коснулась меня. Мог ли я передать письмо, которое в первый раз теперь вижу? Говорят, будто бы Вирланд уехал в мой замок. Забавно придумано! И я узнал о том в день моего приезда в Дерпт. Но он не осмелится показаться там, или я иступлю меч об его голову.

Юннинген горячился. Ридель с ужасом подумал о коварстве Вирланда, прикрытом личною искренности.

Следствием разговора с Юннингеном было свидание с Тонненбергом.

– Прости меня, достопочтенный Ридель! – сказал Тонненберг, бросившись обнимать его.

– Мне бы довольно было нескольких слов для обличения Вирланда, но я хотел, чтобы ты не от меня услышал доказательство клеветы его. Вирланд подговорил беглеца, грабителя Рамме, опозорить меня, написать под мою руку гнусное письмо. Но на что мне раздражать горестью твое сердце и мучить себя напоминанием о похитителе Минны?..

– Рыцарь! – воскликнул Ридель. – Если ты любил ее, помоги мне найти похитителя. Отомсти за несчастного отца!

– Жаль тебя, почтенный Ридель! – сказал Тонненберг, сжимая его руку. – Но что делать? Послушай, друг Юннинген, ты недавно узнал меня, а полюбил по-братски. Отправимся искать Вирланда! Князь Курбский и дерптский воевода помогут мне. Вассалы мои и московские воины будут стеречь по разным дорогам. Предатель от нас не уйдет. Ах, Минна! Минна! Вот и верь прелестному личику!

– Друзья мои, – сказал Ридель, – я не поверю, чтоб она согласилась быть за Вирландом... Она скорее умрет.

– А если счастье, – перебил его Тонненберг, – поможет мне найти твою прекрасную Минну, я уверен, многоуважаемый Ридель, что ты назовешь меня сыном твоим.

Тысячи проклятий Вирланду и полдюжины кубков вина скрепили возобновление дружбы Риделя с Тонненбергом, и рыцари почти со слезами вырвались из объятий плачущего старика.

Бригитта, прогнанная Риделем, нашла себе пристанище у тетки Тонненберга, просившего, чтобы бедная старушка, неутешная о Минне, была призрена из сострадания его родственницей.

Глава X. Обвиненный

Сумрак распространялся по небу, когда Курбский увидел вдалеке русский стан, расположенный под Вейсенштейном. Княжеский аргамак далеко за собою оставил других утомленных коней, но Курбский желал еще ускорить его бег и, объясняясь с Мстиславским, облегчить тягость огорченного сердца. Время настало ненастное; осенняя сырость от близости болот и дождь, порывавшийся с облаков, наносимых холодным ветром, умножали мрак; вскоре совсем стемнело. Но сквозь леса, по местам вырубленного, уже приметно было слабое зарево от огней сторожевого отряда, и Курбский увидел на холмистом возвышении вспыхивающее, почти угасающее от дождя пламя костров, разложенных между шалашами, сплетенными из древесных ветвей. Копья, щиты и мечи, на гладкой стали коих отсвечивался огонь, развешаны были на шестах и на ветвях. Простые ратники грелись у огня на голой земле; войлоки, растянутые на жердях с той стороны, откуда бушевал ветер, укрывали их.

Владимир, окруженный стражей, так отстал от князя, что потерял его из виду. Курбский оглянулся и, не видя своих спутников, удержал своего коня.

У одного шалаша лежали на земле два ратника; за навесом нельзя было видеть их лиц, но слышен был их разговор.

– Худо совсем, – говорил один. – Пять недель стоим под Пайдою¹⁷, а до проклятого этого гнезда не доберемся.

– Воевода похвалился во что бы ни стало взять – так надо взять.

– А чрез болотное море птицей не перелетишь. Сколько снарядов погрузило, сколько силы потрачено!

– Правда, а если бы с нами был князь Андрей Михайлович Курбский?

– Иное дело: тут не о чем думать. Идешь за ним, и он везде выведет. С ним бы давно были в Колывани¹⁸. А то стоим здесь столько времени понапрасну. Запасы исходят; голод не свой брат, погонит нас к Руси.

– То-то воевода и гневен, – сказал вполголоса другой.

– Да гневайся на себя! – отвечал товарищ. – Неудача всякому не по сердцу, а догадки не у каждого много.

Курбский с беспокойством слушал этот разговор, досадуя на безуспешные усилия Мстиславского. В это время подъехали Владимир и другие всадники.

– Ну, вот мы и в стане, Владимир, – сказал князь. – Бедный юноша, ты даже не знаешь, в чем тебя обвиняют, ты терпишь за любовь к Адашеву. Напомни, что говорил ты о заключении Адашева в дерптскую башню?

– Князь... я не говорил, но рыдал. Ты знаешь, чем Адашев был для нас; тебе известно, как чтило его семейство наше...

– Но в горе ты мог произнести несколько слов... а чужая клевета могла их дополнить.

– Свидетель Бог, что никому я зла не желал, никого оскорбить не хотел.

– Так, но печаль неосторожна в словах. Помнишь ли, что говорил ты над прахом Адашева?

– Что говорил я? Не помню слов моих; и мог ли я помнить себя у могилы Адашева?

– Ты сказал, что осиротело отечество, могут и это прибавить к твоему обвинению.

Владимир задумался.

– Еще одно смущает меня, – сказал он, – грамота, которую я привез к тебе от князя Курлятева.

¹⁷ Так русские называли Вейсенштейн.

¹⁸ Так называли русские Ревель.

– Но в тот же день ты вступил в Коломенскую десятню под знамена Даниила Адашева. Грамота осталась у него, и при мне Даниил бросил ее в огонь. О чем ты вздыхаешь, Владимир?..

– Какое-то худое предчувствие тревожит меня.

Пламя костра осветило приближающегося всадника.

Курбский узнал его и тихо сказал Владимиру:

– Не считать ли худым предчувствием встречу с воеводой Басмановым?

– Не ждали тебя, князь! – закричал Басманов. – Что тебя привело сюда? Не задумал ли помогать нам?

– В чем? – спросил Курбский. – Если винить невинного, то я вам не помощник.

– Невинного? – сказал Басманов. – Не всякий ли прав, кто служит не царю, а Адашевым?

– Не говори об Адашевых. Один уже в земле, другой в опале. Но если любить их есть преступление, то и войска и вся Москва полна преступниками...

– От царских очей ни один преступник не утаится, – резко сказал Басманов.

– От Божьей руки ни один клеветник не скроется, – тем же тоном проговорил Курбский.

– О ком ты, князь, говоришь?

– О тех, которые тайными путями собирают на ближнего стрелы невидимые, прислушиваются к шепоту досады и скорби; каждому слову дают противное значение, каждую речь превращают в злонамеренный умысел с тем, чтоб на гибели других основать свое счастье...

– Кто посмел снять цепи с оскорбителя царского? – вскрикнул Басманов татарскому голове, указывая на Владимира.

– Я! – сказал Курбский.

– Выше голову, юноша! – сказал Басманов Владимиру с язвительной улыбкой. – Храбрейший воевода взялся быть твоим заступником.

– Басманов, не говори так...

– Не угрожай мне, князь Андрей Михайлович, предки мои не слышали угроз от твоих предков.

– Не считайся со мною в старейшинстве, – сказал Курбский. – Дед и отец твой призывали в молитвах святого моего прародителя князя Федора Ростиславича, а ты всегда стоял ниже меня в воеводах.

Воеводы сошли с коней пред раскинутым шатром князя Мстиславского, окруженным вооруженными всадниками.

Мстиславский не мог скрыть досады при нечаянном прибытии Курбского. Он не желал иметь его свидетелем своих неудач и тем более не желал уступить ему славы взятия Вейсенштейна. Мстиславский знал, что ревельцы с боязнию ожидали приступа русских, не предвидя надежной обороны, но не уходил от Вейсенштейна. Воины ослабевали в трудах, наряды гибли в болотах, запасы истощались, но, раздраженный неудачами, Мстиславский хотел одолеть Вейсенштейн и природу. Ему недоставало искусства и мужества Курбского. Неудивительно поэтому, что он встретил Курбского с холодностью и выслушал его с негодованием.

Владимир стоял среди суровых татар, готовых, по одному мановению военачальника, занести убийственное железо над своей невинной жертвой.

– Князь Курбский, я не ведаю, кто здесь первый воевода? – сказал Мстиславский.

– Тот, кого прошу я, – отвечал почтительно Курбский.

– Ты просишь и повелеваешь! – воскликнул Мстиславский. – Не я, но ты снял оковы с оскорбителя царского.

– В чем оскорблен государь?

– То царь и рассудит, – сказал надменно Мстиславский, – не имею времени с тобою беседовать.

Он повелел воинам наложить оковы на Владимира.

– А ты, – продолжал он, обратясь к татарскому голове, – как дерзнул преступить мои повеления, допустить снять с преступника цепи?

– Моя вина... – едва мог промолвить татарин, преклонясь пред Мстиславским.

– Посмотрю я, кто с тебя снимет цепи, – сказал Мстиславский и повелел заковать его.

– Если ты воевода, чтоб только налагать цепи, – сказал Курбский, – я не дивлюсь, что ты несчастлив в осаде Пайды. Нужно заслуживать любовь подвластных, чтоб легче было повелевать ими.

Мстиславский затрепетал от гнева; но укоризна была столь справедлива, что он смутился, не находя слов возразить. Басманов отвечал за него:

– Князь Андрей Михайлович, не тебе так говорить старейшему и саном и родом.

– Оскорбляя меня, – сказал Мстиславский, – ты оскорбляешь царя, который облек меня властью.

– Не думай, что мудрый царь оскорбляется правдой, – сказал Курбский.

С этими словами он вышел из шатра; проходя мимо Владимира, он сказал:

– Терпи, добрый юноша! – и пожал его руку.

– Строптивный муж! – воскликнул Мстиславский. – Царь смирит тебя и решит спор между мною и тобой. – А ты, несчастный, – сказал он Владимиру, – сознайся в твоём преступлении.

Владимир молчал.

– Отвечай! – сказал Мстиславский.

– Отвечай, воевода тебя вопрошает, – крикнул Басманов.

– Скажи вину мою.

– Говорил ли ты, что царя окружают клеветники? – спросил Мстиславский.

– Нет.

– Говорил ли ты, что Адашев невинен? – сказал Басманов.

– Говорил.

– Неразумный юноша, ты обличил себя в преступлении. Не развозил ли ты тайно грамот, оскорбляющих царское величество?

– Нет.

– Для чего же прибыл ты из Москвы?

– Служить государю в полках его.

– Так... Но ты доставил тайно возмутительную грамоту князю Андрею Курбскому.

Владимир пришел в смущение.

– Он молчит... он сознается, – сказал Басманов.

– Я не предатель, – сказал Владимир с негодованием, – я не доставлял возмутительной грамоты.

– Утверди же крестным целованием, что ты не привозил никакого письма от Курлятева.

Владимир в смущении не знал, что отвечать, и поднял глаза на крест, висевший в углу шатра.

– Смотри, – продолжал Басманов, – целуй крест на том, что ты не привозил такой грамоты.

При сих словах он показал юноше список с того письма, с которым Владимир прибыл из Москвы к Курбскому; список доставлен был Басманову его лазутчиком.

Владимир с трепетом отклонил руку Басманова.

– Нет, – сказал он, – не погублю души моей на неправде! Я привез из Москвы грамоту от князя Курлятева князю Курбскому.

– Тайно?

– Что друг поверяет другу, то было и для меня тайной.

– Возмутительную?

– Нет! – перебил его Владимир. – И присягну на Животворящем Кресте. Никогда бы добрая мать моя не отдала мне возмутительной грамоты...

Владимир остановился. Внезапная мысль, что мать его может подвергнуться опасности, охладила страхом его сердце.

– Итак, твоя мать передала тебе грамоту? – спросил Мстиславский.

– Она и Курлятевы издавна живут адашевским обычаем! – проговорил Басманов. – Она проводит дни в посте и молитве, а дерзает на смуты и ковы...

– Боярин! – сказал Владимир. – Есть Бог Всевидец! Страшись порочить безвинно.

– Безвинно! – воскликнул Басманов и указал Мстиславскому на то место грамоты, где Курлятев писал, что клеветники на Адашева и Сильвестра отравляли ласкательствами сердце Иоанна. – Рассуди, князь! – прибавил он. – Не хула ли на царя? Кто, кроме раба-возмутителя, дерзнет быть судьей государевой воли?

– Славные воеводы! Князь Курлятев не возмутитель, но верный слуга государю; с вами стоял за него в битвах. Если осуждать каждое неосторожное слово в домашних разговорах, в беседе друзей, то кто не будет виновен пред Иоанном?

– Оправдай себя, – сказал Мстиславский, – а о других не заботься.

– Ужели не вступишь за меня твоя совесть? Умоляю тебя, воевода! Не о себе умоляю, но о матери моей, пощади от скорби ее старость! Не ищи в простых словах злых умыслов, не преклоняй слух к наветам.

– Отвести его, – сказал холодно Мстиславский, – и держать под стражею, доколе не придет повеление отправить его в Москву...

Между тем князь Курбский прибыл к своим полкам. Увлекаемый силой чувств, он порой жалел о последствиях своей неосторожной пылкости, но, по великодушию, не боялся понести царский гнев, желая спасти невинных. В опасении о судьбе Владимира и возмущенный вестью об опале на Даниила Адашева, злополучного Даниила, не заставшего в живых ни жены, ни отца, Курбский решил отправиться в Москву и готов был писать о сем к Иоанну, но обстоятельства переменились.

Осеннее ненастье, скудость в продовольствии, изнурение воинов от болезней и голода наконец победили упорство Мстиславского и вынудили его отступить от Вейсенштейна. Видя необходимость возвратиться в Россию, он отправил гонца к Иоанну и вскоре со всем воинством выступил из Ливонии, оставив охранные отряды в покоренных городах.

Желание Курбского исполнилось. Полки его двинулись к Москве. Он спешил от поля побед к семье, нетерпеливо его ожидавшей. Уже Новгород остался позади. Продолжая и ночью путь с верным Шибановым, Курбский только на короткое время останавливался отдыхать; вскоре он миновал и Тверь. Настал день, сильный ветер осушил влажную землю; опавшие листья желтели по сторонам дорог; но осеннее солнце еще сияло ярко, прощаясь с полями и рощами. И вот вдалеке открылась Москва неизмеримая, блистающая, как золотой венец на зеленых холмах.

– Москва! – воскликнул Курбский и, при виде светлых, несчетных крестов, как бы в знамение благодати над ней, ее с высоты осеняющих, поклонился святыне родины.

Часть вторая

Глава I. Горестная встреча

Вихрь, обрывая листья деревьев, мчал их по воздуху. Стены и башни московские грозно белели под небом, потемневшим от туч; золотые главы церквей потускнели в облаках пыли. Курбский въехал в Москву. За городскими воротами теснился на улицах народ, в движениях людей видно было беспокойство, во взорах уныние; радостных лиц не встречалось. Несколько боярских детей быстро пронеслись на конях и, встретив знаменитого вождя, приветствовали его, но ни один из них не остановился, как бы опасаясь заговорить с Курбским.

Князь в Москве, но там нет царицы, нет Алексея Адашева, нет Сильвестра, там ждут его вражда и клевета!.. В задумчивости он опустил поводья; и вдруг до слуха Курбского доносится печальное священное пение, погребальное шествие, подымаясь по горе к полю, преграждает дорогу. Его узнают, идущие перед гробом останавливаются, диакон церкви Николая Гостунского, Иоанн Федоров, подходит к нему.

– Князь Андрей Михайлович! – говорит он, поклонясь Курбскому, – Анастасия пошла к своему Алексею!

Курбский узнает, что видит гроб жены Алексея Адашева.

Недолго прекрасная пережила весть о смерти своего супруга.

Курбский подошел к носилкам, на которых возлежал гроб, закрытый покровом из серебряной обьяри. Князь поклонился до земли и тяжело вздохнул; в это время сверкнула пред ним золотым венцом икона Божией Матери. Он вспомнил, что ею благословила на брак Анастасию царица, супруга Иоанна. Теперь не в светлый брачный чертог вела сия икона, но, свидетельница тайных молитв Анастасии, предтекала ей в путь к вечной обители.

Глядя на идущих в печальном шествии, Курбский искал супруги своей и не обманулся: быв подругой Анастасии с юности, она провожала ее и к могиле. Гликерия вдруг увидела князя. Горестное свидание! Она произнесла его имя и более не могла произнести ни слова; неизъяснимая скорбь выражалась на ее лице! Князь с удивлением заметил, что Даниила Адашева не было в шествии; не видел и Сатиных, братьев Адашевой, ни почтенной Марии. Ужасны были вести, ожидавшие Курбского. На вопрос о Данииле Адашеве, Гликерия указала на небо, дыхание ее стеснилось, глаза наполнились слезами. При вопросе о Марии она зарыдала.

Между тем раздавался плач идущих за гробом. То были бедные, лишившиеся благотворительницы, страдальцы, ею призренные, сироты, ею воспитанные. «На кого ты оставила нас? В какую дорогу собралась? Разве светлые палаты тебе опостыли или наша любовь тебя прогневала, что ты нас покинула?» Так причитали, по обыкновению, усопшую, исчисляя ее богатства и вспоминая добродетели.

Тут шла юная десятилетняя питомица Адашевых Анна, дочь дворянина Колтовского, лишившаяся в младенчестве отца и матери. Прелестное лицо сироты было орошено слезами.

Немногие из бояр сопровождали печальное шествие, но за толпою бедных шли несколько боярских детей, в черных одеждах и высоких шапках, за печальными санями, обитыми черным сукном. Завеса закрывала сидящую в них, но все знали, что то была княгиня Евдокия Романова, супруга князя Владимира Андреевича, двоюродного брата царя. Она любила Анастасию Адашеву и вместе с царицей посещала ее; верная дружбе, не забыла о ней и в бедствии и желала отдать ей последний долг любви, не страшась Иоаннова гнева. Еще несколько болезненных старцев влеклись на клюках за гробом супруги благотворителя. Боязнь не заградила уста их: они благословляли имя Алексея Адашева.

Тогда как все близкие к Адашевым представлялись виновными в глазах Иоанна, омраченного подозрениями, честолюбивые братья царицы, боясь утратить с кончиной сестры свое могущество, старались стать необходимыми для царя и, показывая заботливость о нем, явно и тайно говорили, что Адашевы извели их сестру. В доме Алексея Адашева нашли латинскую книгу с чертежами, поднесенную в дар от иноземца. Она сочтена была черною книгою, тем более что переплет ее почернел от времени. Клеветники толковали, что посредством ее Адашев успел очаровать Иоанна и что волшебство разрушилось, когда бросили книгу в пламя. К несчастью, при последних минутах умирающей царицы в дворцовой кладовой, между драгоценными боярскими одеждами, хранящимися для торжественных дней государева выхода, найдены были корни неизвестной травы в одежде Турова. Боярин Басманов, Василий Грязной, Левкий, а за ними и другие ненавистники Адашевых повторяли рассказы о вредном зелье; указали несколько веток, подброшенных за серебряный поставец в царской почивальной, веток той самой травы, какую нашли в парчовом ферязе Турова. Клевета утвердилась на суеверии, и последствия были ужасны. Туров погиб в то самое время, когда несчастный Даниил Адашев приближался к Москве. Гнев Иоанна стремился истребить Адашевых. За день до приезда Курбского герой Крыма пал под ударом того же топора, который обагрился кровью Турова. Идя к Лобному месту, он обличал клеветников, с величием души приветствовал некоторых встречавшихся ему воинов, бывших с ним в Крымском походе, но не мог удержаться от слез при виде своего двенадцатилетнего сына. Юный Тарх упал к ногам родителя и обнимал колени его. Едва могли оторвать его от Даниила; Тарх умолял бояр и народ помиловать отца, но в это время блеснуло ужасное лезвие, и голова Даниила покатила вниз. Казалось, громовой удар потряс всех, ропот последовал за первым движением ужаса. Сатины, братья Адашевой, указывали на труп героя и на раны его за отечество; сын лежал без чувств подле окровавленного топора. Клеветники слышали проклятия и спешили донести царю о мнимом возмущении. Иоанн появился на Лобном месте, сопровождаемый татарскими царевичами. Грозно окинул он взглядом народ и, увидев Сатиных, повелел их схватить. Мановение руки его было смертным приговором братьям Адашевой и юному сыну Даниила. Кровь лилась перед народом, онемевшим от ужаса.

– Так поражу всех единомышленников Адашева! – сказал Иоанн. – Не будут они вредить волхвованиями и возмущать народ. Не пощажу ни рода, ни племени, ни младость, ни старость. Изменники! – говорил он, указывая на труп Даниила. – Они хотели волшебством вредить царскому здоровью и править царством посохом Сильвестра и рукою Адашева. Скоро узрите казнь новых злодеев!

Вот о чем услышал Курбский; Мария и пять ее сыновей, между ними любимец Алексея Адашева юный Владимир, – осуждены на казнь.

Клевета, которой хотели верить, очернила и Курбского. Но он забыл о себе, готовый обличить клеветников или пожертвовать собою и с погребения Анастасии, не возвращаясь в дом свой, поспешил предстать Иоанну.

Иоанн не допустил Курбского, повелев сказать, чтоб ожидал царского слова. Тогда князь решил обратиться к первосвятителю митрополиту Макарию, открыть пред ним скорбь души своей и просить его ходатайства о помиловании несчастного семейства Марии.

Глава II. Первосвяtitель

Белокаменные палаты митрополита возвышались близ дома князя Мстиславского, возле Чудова монастыря, со многими деревянными строениями на обширном дворе, к которому при-мыкал сад, простиравшийся до кремлевской стены. Митрополит, отдохнув после трапезы, опи-раясь на посох, прохаживался под тенью ветвистых яблонь. Белые цветы их давно уже усту-пили место плодам; ветви рябин краснелись кистями. Неподалеку стояла покрытая ковром скамья, под полотняным наметом, утвержденным на деревянных столбах и осеняемым тени-стыми кленами. На скамье этой митрополит любил сидеть, углубясь в размышление. Он сел на нее, держа в руке длинный столбец Степенной книги, развернул его, стал рассматривать, как вдруг послышались шаги, и он увидел подходящего гостунского диакона Федорова.

Поклонясь митрополиту, диакон остановился в отдалении, примечая на почтенном лице Макария следы душевной скорби.

– Что, все кончили? – спросил митрополит.

– Отдали земное земле! – отвечал диакон.

– А где положили ее?

– Возле страдальца Даниила. Князь Андрей Михайлович прибыл в Москву и сопровож-дал погребение.

– Спаси его Боже от напасти! – прошептал митрополит. – Тяжкое время, отец Иоанн! Господь на нас прогневался.

– Помолись, владыко! Господь примет молитву твою и подаст тебе силу утишить бурю царского гнева.

– Потерпим! Всевышний наслал искушение, Он и отнимет напасть. Что принес ты, отец Иоанн?

– Первый лист, владыко, тиснения Деяний Апостольских, – сказал Федоров.

– Начаток благословенного дела! – сказал митрополит с приметным удовольствием; сняв с себя черный клобук, он перекрестился и взял лист из рук диакона, лицо которого прояснилось радостью успешного труда в книгопечатании. – Благодарение Богу! – проговорил митрополит, рассматривая лист. – Не одни чужеземцы преуспевают в мудрости книгопечатания. Свыше дар послан, дабы все пользовались. Честь тебе, отец Иоанн, и благодарность твоему радению.

– Слава Богу, царскому разуму и твоему святительству, – отвечал диакон, преклоня голову, – а мы с Петром Мстиславцем во всю жизнь делатели на пользу церкви святой и цар-ству православному.

– Бумага добротная, буквы четкие и оттиск тщательный. Зрение мое от старости приту-пилось, но печатное слабым глазам моим легче читать.

– Посетуют, владыко, списыватели книг церковных...

– Посетуют и замолчат! Не жертвовать же общею пользою выгоде их. О, если б Бог спо-добил нас так напечатать всю Библию!

– И жития Святых Отцов, труды твоего преосвященства.

– Четы-Минеи? Да, не забылось бы имя наше и в позднейшие лета! Келейник, подай чару меду отцу диакону.

– За здравие владыки! – сказал Иоанн Федоров, подняв высоко чару, поднесенную на серебряном блюде.

– Пей за художников книжного дела! – весело сказал митрополит, благословив чару.

В это время служитель пришел сказать митрополиту, что чудовский архимандрит Левкий желает его видеть и ждет приказа владыки.

– Левкий? – повторил митрополит с неудовольствием. – Избавит ли Бог от кознодея! Не хочу видеть его в саду моем. От дыхания его повредятся плоды мои. Приходи ко мне завтра, отец Иоанн, тогда, как распустишь учеников из училища.

Митрополит встал и, сопровождаемый диаконом, вышел из сада. У крыльца палаты встретил его архимандрит смиренным поклоном. Бодрый здоровьем, Левкий сгибался под черною рясою; лицо его было бледное, но полное, глаза быстрые и усмешка лукавая. Начиная говорить, он потуплял глаза в землю, часто вздыхал, но и в тихих речах его обнаруживались порывы страстей; в самой холодности можно было приметить пламень злобы.

– Не опять ли от царя? – спросил митрополит, дав знак идти за ним в образную.

– Не от его величества, а по церковной потребе.

– Хорошо, Левкий, что подумал о церкви. Ты проводишь целые дни в царских чертогах.

– Ох, не по заслугам государь меня, многогрешного, жалует. Но ты пастырь церкви, ходатай милостивый.

– С чем же пришел ты?

– Утруждаю твое преосвященство. Заступись за святую обитель, не дай в обиду по духовной грамоте Данилки Адашева.

– Адашева? – переспросил митрополит. – Помяни Боже страдальца! Не вздыхай, Левкий, ты, Захарьины и Басманов погубили Адашевых...

– Преосвященный владыко, волхвование погубило их. Царских злодеев Бог обличил.

– Волхвование! – повторил митрополит, сев на скамью и покачав головой. – Спаси Господи от волхвов и наущников.

– Известно, владыка, что лютые зелья найдены у Турова: он подбросил их царице, а ссужали Адашевы.

– Правда ли, Левкий?

– Вассиан и Мисаил заверят крестным целованием у чудотворцова гроба. Царица скончалась бездетной; хотелось Сильвестру и Адашевым править царством и волею державного государя, а Марья-чародейка помогала им!

– Не мешаюсь в дела мирские, но много, Левкий, принял ты греха на душу!

– Царь рассудил... – начал Левкий.

– Бог рассудит, – перебил его митрополит, – и взыщет невинную кровь.

Макарий подошел поправить светильню лампы, горящей пред иконами. Лампада ярко вспыхнула пред потемневшим лицом архимандрита, и внезапный блеск ее осветил лик небесного мстителя.

В это время послышались шаги, Левкий оглянулся и увидел князя Курбского.

Не ожидал Курбский встретить здесь виновника гибели Адашевых, не ожидал и Левкий увидеть князя. Он не мог вынести взгляда Курбского, невольно вздрогнул и опустил глаза в землю.

Митрополит приветствовал князя словом Евангелия: «Благословен грядый во имя Господне!»

Курбский поцеловал руку первосвященника и сказал:

– Господь отнял от нас свое благословение. Лесть и клевета обошли нас, владыко, нет правды в мире, нет мира в сердцах!

– Мир вам! – сказал митрополит, осеняя его крестным знаменем.

– Святитель, меч губит невинных.

– Господь всем воздаст! – сказал митрополит, указывая на образ Страшного суда, им самим написанный.

Образ этот стоял на станке, еще не оконченный митрополитом. Трудясь с жаром духовного красноречия в описании святой жизни и чудес угодников Божиих, митрополит Макарий усердствовал сам изображать лики их так, как представлялись они его воображению. Сей

труд служил отдыхом для неутомимого архипастыря. При возникающем гонении на невинных Макарий, не однажды возвышая голос свой в царской думе, но не видя успеха и считая для себя неприличным вступаться далее в дела светские, желал представить безмолвный урок сановникам и, после кончины Алексея Адашева, начал писать образ Страшного суда. Не скоро митрополит надеялся кончить сию икону; но уже можно было видеть главные части образа – праведников и мучеников, призываемых Спасителем в царство славы, и беззаконников, поглощаемых гееннским огнем.

Левкий, стараясь скрыть свое смущение, осмелился хвалить искусство письма, а Курбский, указывая на изображение, сказал:

– Страшна участь клеветников и лицемеров! Губители невинных гибнут в адском огне. Их терзают муками, каким они подвергали других; но муки их вечны. – И, схватив руку дрожащего архимандрита, который отступил от образа, Курбский прошептал: – Вот что готовят себе злодеи, преподобный отец!

– Чародеи и обаятели, – отвечал Левкий, вздыхая и не смотря на икону.

– Нет страшнее чародейства, как злоречие клеветы, – заметил Курбский.

– Радуюсь, князь, прибытию твоему! – проговорил митрополит, прерывая речь князя и приглашая его сесть на скамью, покрытую суконной паволокою.

Левкий хотел удалиться.

– Можешь остаться, – сказал Макарий. – У меня с князем нет тайны; Андрей Михайлович будет говорить при тебе.

– Я спешил в Москву просить за невинных; царь не дозволил мне предстать к нему; зложелатели торжествуют. Святой владыко, удостой быть посредником между мною и государем.

– Велики заслуги твои, князь Андрей Михайлович, – сказал митрополит. – Голос мой ничего не прибавит к ним. Посредство мое в делах духовных; не касаюсь суда мирского и воли мирской.

– Первосвяtitель, – возразил Курбский, – когда у подножия трона измена расстилает сети для пагубы невинных, тогда мудрость духовная может стать пред троном в заступление истины.

– Разделяю с тобой скорбь о бедствии невинных, но не мешаюсь в дела синклита. Господь зрит мысли и сердца. Обвинитель Адашевых пред тобою; сам Левкий свидетель, что, призванный государем в думу, я говорил за обвиняемых, просил не судить их заочно и допустить к оправданию. Не хочу более печалить старость мою и надоедать государю; вижу, что пора мне сложить бремя мое, отойти к житию молчальному. Левкий, ты можешь сказать государю о желании старца Макария.

– Не оставляй нас, владыко, – сказал Левкий, вздыхая. – Ты первосвяtitель церкви, столп православия.

– Не трать льстивых слов, – сказал митрополит, – я знаю тебя, и ты меня знаешь.

– Свяtitель, – сказал Курбский, – в безмолвной жизни ты будешь служить себе; ныне служишь церкви и царству и еще можешь возвысить голос в защиту гонимых.

– Церковь молит о них пред престолом Господним, – тихо сказал Макарий.

– Но бедствия их не смущают ли душу твою? – спросил Курбский.

– Не смущайся бедствием добрых! «Блажен иже претерпит искушение, зане искушен быв примет венец жизни».

– «Претерпевый до конца, той спасется», – прибавил Левкий.

– Так, Левкий, спасается тот, кто потерпел от наветов, но наветнику нет спасения.

Говоря это, митрополит взял из рук Левкия список с завещательной грамоты Даниила Адашева.

Курбский устремил пронизательный взгляд на архимандрита.

– Скажи, – сказал митрополит Левкию после некоторого молчания, – в чем ты обвиняешь Даниила Адашева и по смерти его?

– Великий первосвященитель! – отвечал Левкий, не поднимая глаз. – Он положил на слове отказать святой Чудовской обители огородную землю в Китае, за торговой площадью. Отправляясь в Ливонию, писал нашему келарю, что если Бог пошлет по душу, и тому месту быть за святою обителью; но в грамоте оказалось, что мимо Чудовской обители отдано то место, где гостунское училище, и сказано взять для того же училища данные отцу келарю в ссуду для обители четыре рубля московскими деньгами да полтину московскую.

– У сей грамоты, – сказал митрополит, – сидел отец его духовный от Ильи-пророка, и в грамоте означено, где что дать ему и с кого взять. Отменить намерение он был властен.

– Обитель нуждается в перестройках келейных, отдачею же денег под училище это приостановится...

– Стыдись, Левкий, удерживать достояние сирот и детей. Обители обогашены дарами царей и бояр, а для вертограда наук еще способов мало.

– Многие науки во вред душе, – сказал Левкий.

– Не видит ли Левкий чародейства в науках? – спросил Курбский.

– Не гневайся, князь, – отвечал Левкий, – и дай молвить слово: ты знаменитый воин, но Адашевы опутали тебя волхвованиями.

– Довольно! – прервал сурово митрополит. – Я уже слышал твои наговоры.

– Левкий, – сказал Курбский, – благодари Бога, что сан твой и присутствие первосвященителя ограждают тебя; но помни суд Божий.

– Ты мне грозишь, князь, в присутствии владыки?

– Я говорю пред владыкою и то же скажу пред царем, хотя бы заплатил жизнью за истину...

– Князь, скрепи сердце, – сказал митрополит. – Не для того я удержал Левкия, чтоб воспалить гнев твой. Я желал показать тебе, что не верю и не потворствую лукавым наветам.

– Прости скудоумие мое, преосвященнейший владыко, – сказал Левкий. – Пред державным государем говорил я в простоте сердца. Глас народа – глас Божий; везде знают Адашевых; велико слово государево. Содрогаюсь я, слыша от него самого, что Адашевы и новгородец Сильвестр обаянием омрачили царские очи его и владели державною волею.

– Не обаянием, но страхом Божиим, – возразил Макарий. – Сила их была не в чародействе, но в разуме и добродетели.

– Помилуй, владыко, ты ставил государя на царство и браком его сочетал, а поп Сильвестр насылал повеления, и боярам, и воеводам делал что хотел!

– Господь послал его, – сказал Макарий.

– Господь и оборонил от него, – молвил Левкий... – А то он и Адашевы, сговорясь, отвращали государя от врачей телесных и врачества душевного; отговаривали не ездить на богомолье в отдаленные обители...

– На всяком месте слышит Господь Его призывающих, – сказал Макарий.

– Милует Бог, и государь увидел волков в одежде овчей...

– Но обличится и тот, кто в одежде ангельского чина сеятель клеветы на пагубу добрых, – сказал Курбский.

– Князь Андрей Михайлович, не моя вина, что государь пожаловал простоту мою и со мною, смиренным, беседует. Гордым Бог противится, смиренным дает благодать.

– Смирение в личине, – сказал митрополит, – благодать не в чертогах, где ты остришь меч казни.

– Не моя вина, владыко. Меч суда Божия на главу грешников. Завтра казнят чародейку Марию с ее окаянными племенем.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.